АНАТОЛИЙ БАЛЬЧЕВ kipa jazz

ИСТОРИЯ С «ЖИВАГО». ЛАРА ДЛЯ ГОСПОДИНА ПАСТЕРНАКА

роман – cinematography

«Прочитал... Любопытно...
От Кипы я такого не ожидал».
ДМИТРИЙ ЛИПСКЕРОВ, драматург, прозаик

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Удивительная история последней любви Бориса Пастернака, написанная специально для кино. Книга, которая перевернет и заставит изменить взгляды на многие факты биографии великого поэта. Блистательные диалоги и неожиданные повороты судьбы держат в напряжении читателя с первой строки и до последней страницы. На основе рассказов музы Бориса Пастернака Ольги Ивинской и воспоминаний друзей из ее близкого окружения. Анатолий Бальчев (kipa jazz) – легендарный персонаж богемной Москвы 60–80-х годов ушедшего века, музыкант, композитор, режиссер.

«Прочитал… Любопытно… От Кипы я такого не ожидал».

«Уверен, что «История с Живаго» заставит читателя нашего расчетливо-бездушного времени сопереживать бескорыстной и трагической любви великого Поэта и его Музы, которых не смогли сломать ни государственная «машина», ни общественная травля».

- Анатолий Бальчев
  - Октябрь, 1958 год
  - Предисловие
  - Глава 0
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Глава 9
  - Глава 10
  - Глава 11
  - Глава 12
  - Глава 13
  - Глава 14
  - Глава 15
  - Глава 16
  - Глава 17
  - Глава 18
  - Глава 19

- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23
- Глава 24
- Послесловие
- Приложение
- Иллюстрации

- notes
  - 1

Анатолий Бальчев
История с Живаго. Лара для господина Пастернака

Октябрь, 1958 год

Шведская академия присуждает премию по литературе писателю из России Борису Пастернаку за роман «Доктор Живаго».

Первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе, стал Иван Бунин (1933 год). Сохранилась хроника церемонии вручения награды, всей помпезной атмосферы, которая царила в зале.

Из речи Бунина:

«9 ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели б сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали».

Видел ли эту хронику Пастернак, нам неизвестно, но очевидно, что речь он слышал.

Борису Леонидовичу не довелось самому присутствовать в зале Шведской академии, его «нобелевская речь» так и осталась неуслышанной. Само собой, денежная премия в миллион долларов тогда осталась не полученной никем – ни писателем, ни его близкими.

Но что важнее для истинного художника? Деньги или признание? На этот вопрос внятного и конкретного ответа на сегодняшний день мы не найдем.

Ходили слухи, что нобелевский пример Бунина якобы подстегнул Пастернака к написанию прозы. Завидовал ли Борис Леонидович Бунину? Думаю, нет. Наоборот, Борис Леонидович – из рассказов людей, знавших его – радовался, что у Бунина есть возможность писать открыто, пусть даже и в изгнании.

Оба оставили свой абсолютно разный «литературный привет» в адрес Ленина. У Пастернака это были стихи:

…Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому – страной.
Я думал о происхожденьи
Века связующих тягот.
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

У Бунина – проза. «Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира…». Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому…»

Если бы Бунин в свое время прочитал строки Бориса Леонидовича о «великом вожде», интересно, что бы он сказал? К счастью, в «Окаянных днях» я не нашел ни одного примера, где Бунин, с издевкой перемалывая своих коллег-современников, охаял бы Пастернака.

Писал ли Борис Леонидович свой роман в расчете на какую-то премию, – сомневаюсь. Важно, что проза Пастернака и Бунина, принесшая им награды, абсолютно разная, как по форме, так и по стилистике. Но, наверное, та – именно денежная часть премии – была для Бунина на тот момент очень к месту. А Пастернак, даже узнав о своем награждении, о таких деньгах мог разве только мечтать. Однако тот факт, что «Доктор Живаго» был издан во многих странах мира, для Пастернака это уже само по себе было высокой наградой.

А что касается денег, судьба распорядилась не по законам вселенной, а по обычным бумажным законам международного права, сотканного высокопрофессиональными юристами. В 1989 году в Стокгольме эти деньги получил сын Пастернака, Евгений.

Но, я думаю, судьба денежной премии в те, 60-е годы Бориса Леонидовича никак не волновала. Он получил именно то, о чем мог бы мечтать настоящий художник, – признание.

Но там, где белое, бывает и черное. Издание романа, популярность поэта во всем мире и великая молва – все это обратилось не только в какую-то странную, неожиданную фантасмагорию, но и в жуткую трагедию не только для автора, но и для его самых близких людей.

Об одном таком близком человеке, о встрече поэта с одним из самых главных людей его жизни, мы хотели сделать фильм. Но кино так и не срослось…

Предисловие

Так случилось, что в начале 70-х годов судьба свела меня, еще несмышленого мальчишку, с удивительной, красивой с большой буквы женщиной. Эту женщину звали Ольга Всеволодовна Ивинская.

Я дружил с ее сыном, Дмитрием Виноградовым, потрясающим поэтом и переводчиком, стихи которого я превратил в песни, и эти песни часто звучали в моем исполнении для моих любимых людей на закрытых ночных «слетах» в знаменитом ресторане «Архангельское».

В 80-е годы я стал бывать в доме Ольги Всеволодовны чаще и чаще. В то время с помощью Мити я начал пробовать себя в роли «драматурга» и, будучи не совсем скромным, время от времени приносил ему на прочтение свою писанину, достаточно наивную. Думаю, Митя читал эту писанину скорее из чувства такта; тем более, что и времени у него подчас не хватало.

Позднее Митя согласился на одну мою, не совсем скромную, «авантюру»… И мы, вдруг, вместе начали писать пьесу о поэтах. Она так и называлась – «Кафе поэтов». Я тогда работал в театре и носился с идеей сделать музыкально-поэтический спектакль. Стоит отметить, что советчики у меня были на тот момент весьма именитые: сценарист Игорь Ицков – как-никак лауреат Ленинской премии за фильм «Неизвестная война», великий драматург Михаил Рощин и не менее великий кинорежиссер Андрон Кончаловский. Видимо, их вежливое – связанное с их природным тактом – одобрение моей «бредовой» идеи и послужило толчком к митиному согласию. Поскольку основной груз писания текста взвалил на себя Митя, я был на подхвате. Процесс рождения этой пьесы происходил в их доме. И, само собой, мне приходилось там часто бывать и многие часы проводить в атмосфере ироничных рассказов и воспоминаний Ольги Всеволодовны Ивинской о событиях в России 50–60-х годов. Иногда мы вместе ужинали и, как правило, у нас у каждого на столе, в маленькой семиметровой кухне, была рюмка хорошей водки и традиционная закуска того времени: вареная картошка, капуста, сардельки, селедка – все, как положено, «как в лучших домах ЛАндОна». Во время этих скромных застолий я позволял себе рассказывать им всякую «чушь» из светской московской жизни. Ольга Всеволодовна всегда с удовольствием слушала эти откровения и очень живо реагировала на некоторые эпизоды, связанные с моими романами, что казалось абсолютной грязью в сравнении с историей Лары из «Доктора Живаго». Я еще помню приплюснутую

мордочку ее любимого пекинеса. Он по-доброму фыркал на мое косноязычие, а, может быть, и на клубы сигаретного дыма, которые непрестанно выпускали из своих легких то Митя, то Ольга Всеволодовна. Пекинеса звали Арончик, все последние годы жизни это был ее самый верный друг.

Многое в моей памяти осталось как о том времени, так и о том, что Ольга Всеволодовна рассказывала на своей знаменитой кухне. Вот, что я вспомнил из ее рассказов о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго»:

– Меня часто спрашивают, являюсь ли я той самой Ларой. Я думаю, можно сказать о прототипе, о различии между реальным человеком и художественным образом и степени их сходства, о совпадении судеб. Кроме того, это образ собирательный, в нем есть несколько женских характеров, даже и часть духовного мира самого Бориса Леонидовича. Видимо, в основу образа Лары легли мои черты, в том числе биографическое сходство, схожесть внешняя. «Это – Лара моей страсти», – пишет Борис Леонидович обо мне в письме к Ренате Швейцер. Я или не я – не это даже главное. Лара – любовь Живаго-поэта, создание и достояние его духа – гордого, независимого, не сломленного перипетиями жестокого бытия, тогда как Живаго-человек оказывается бессильным перед реалиями мира. Умер доктор Живаго, поэт Живаго жив, жив роман, и, если какая-то женщина хотя бы на миг почувствует себя Ларой, – значит, в ее сердце есть место для любви жертвенной, чистой. Рада ли я выходу в свет романа в России? – Конечно, рада, по-другому быть и не может. Это была мечта Бориса Леонидовича, хотя он переживал за то, как воспримут на родине его детище.

Ближе к концу 80-х вокруг Ольги Всеволодовны и Бориса Пастернака разговоров ходило все больше и больше, тема их любви – в свое время совсем закрытая – вызывала у людей живой интерес. В то время я как раз пробовал себя в роли продюсера, и идея фильма о Борисе Леонидовиче и о его музе не выходила и из моей головы. А будучи человеком активным, я каждое свое новое знакомство пытался, так или иначе, превратить в создание кино, набиравшего в те дни – в отличие от застойного периода – все больше и больше свободы.

И вот… как-то раз произошла моя встреча с одним крупным американским адвокатом. Он в составе культурной делегации посещал Москву. Дело было вот как: меня пригласили в качестве «творческого персонажа» мои друзья, которые праздновали в гостинице «Космос» наступающий 1988 год. Для антуража я взял с собой двух своих подружек: обеих звали Наташами, обе,

конечно, были бесспорные красавицы, обе говорили по-английски. И здесь, должен признаться, был мой корыстный замысел – я хотел задействовать их в качестве переводчиц. Однако стоило нам оказаться внутри бара, как наши американские друзья и коллеги тут же окружили моих спутниц – с жаждой общения и внимания, – и я был вынужден практиковать свое убогое знание английского языка.

В какой-то момент я увидел – мою голубоглазую Наташу осаждает весьма странный тип с орлиным носом… Между ними шла очень эмоциональная беседа. Наташа заметила мой взгляд, и они подошли ко мне. Человек с орлиным носом представился как Гарри, и оказался он адвокатом из Сан-Диего. Позже я узнал, что спорили они о литературе: о русской, а точнее, о литературе русско-советской и, конкретно, о Пастернаке. Бориса Леонидовича, а тем более экранизацию, снятую по его роману «Доктор Живаго», знает каждый американец. И конечно же, Гарри загорелся идеей создания фильма о Пастернаке. А когда рядом такая спутница, это не только вдохновляет, но и обязывает. Стоит отметить, что позднее Гарри и Наташа стали мужем и женой; после той новогодней ночи они встречались, мотались по зимней Москве, и она, в продолжение их споров о литературе, даже свозила его в Переделкино, на кладбище, где похоронен Борис Пастернак. А потом я привел их в мастерскую художника Бориса Мессерера, в которой он проживал тогда со своей женой – величайшей поэтессой XX века – Беллой Ахмадулиной. Эта мастерская имела свою историю, я бы даже назвал это место намоленным… Кого здесь только не было: и Высоцкий с Мариной Влади, и Евтушенко, и Вознесенский…

Любой мало-мальски образованный европеец, окажись он в этой мастерской, сначала бы, конечно, опешил, но потом, не проявляя внешнего восторга, стал бы внимательно осматривать все вокруг… А здесь – всего минута – и вот уже наш Гарри спешит рассмотреть сразу все экспонаты и, разинув рот, не знает на чем сначала остановить свой взгляд. И немудрено, картины, нагромождение граммофонов, кресла, театральные макеты создавали неповторимую атмосферу, где творили художник и поэт. Ранее от нас с Наташей Гарри узнал, что Белла Ахмадулина была одной из тех молодых литераторов, кто отказался подписать коллективное письмо студентов – тот самый «пастернаковский пасквиль». Конечно же, для американца Гарри встреча с поэтессой, пошедшей наперекор советской власти, да еще в столь юном возрасте, несомненно, была интересна… Однако, к его сожалению, в тот вечер Беллы не оказалось. Зато на стене висел ее портрет, написанный супругом, и множество фотографий с

довольно известными персонажами того времени…

К слову сказать, на книжных прилавках появились воспоминания Бориса Мессерера о Белле, где, в том числе, рассказано и о ее знакомстве с Пастернаком. И об одной из встреч с Ольгой Ивинской, что произошла уже позднее в доме фотохудожника Валерия Нисанова.

Из книги Бориса Мессерера «Промельк Беллы»:

«Валера очень тесно дружил с поэтом и переводчиком Митей Виноградовым, сыном Ольги Всеволодовны Ивинской – великой женщины, которую в последние годы своей жизни любил Пастернак. Она претерпела ужасные испытания – дважды была арестована и провела много лет в заключении. Потом написала изумительную книгу воспоминаний «В плену времени». В ней она тепло упоминает о Белле.

В доме Валеры мы провели счастливые часы общения с Ольгой Всеволодовной, которая с первых мгновений вызвала у нас с Беллой подлинное восхищение. Несмотря на все тяготы жизни, она излучала какой-то особенный внутренний свет».

Я нашел в воспоминаниях Ольги Всеволодовны те самые строки, о которых говорит Борис Мессерер:

> «Здесь появилась розовая и кареглазая красавица, Белла Ахмадулина. Она дышала какой-то удивительной свежестью…»

Но вернемся к нашему Гарри. Весь наш поход к Мессереру произвел на него неизгладимое впечатление, ему казалось, что он попал в самую Мекку культурной жизни Москвы того времени! Позднее он часто вспоминал и тот ужин в мастерской, и те удивительные истории, главным рассказчиком которых был сам Мессерер… Несомненно, этот вечер прибавил в глазах Гарри значимости всему нашему проекту.

«Наконец! – подумал я, – нашелся человек, который влюбился в Пастернака!» И я, приняв все за чистую монету, уже представлял его потенциальным продюсером нашей истории. В то время я тесно общался с Суриковым, директором «Совинфильма». В советское время эта контора была заточена на создание совместных международных проектов. И на тот момент у них как раз формировался «пакет» из семи или десяти фильмов, которые должны были войти в план для производства с Голливудом, если найдется иностранный инвестор. Наш «Пастернак» тоже был в этом списке. Стоит заметить, что «Совинфильм» находился в старом особняке на Большой Никитской, а кабинет Сурикова

выглядел весьма помпезно: кожаные диван и кресла, резной письменный стол, а на стенах – большие плакаты фильмов, сделанных совместно с американцами, французами, японцами и др. Нашего Гарри особенно впечатлил плакат киноэпопеи «Peter the Great»… И здесь я, перехватив блеск в его глазах, увидел, как Гарри уже представил себя с плакатом фильма о Пастернаке, где крупными буквами написано его имя – имя главного продюсера всего будущего кинематографического полотна.

В итоге, весь каскад встреч, свалившихся, не без моей помощи, на «бедного» Гарри, так его воодушевил, что и меня заставил утвердиться в своей великой надежде на эфемерный Оскар. Что говорить, он даже подписывал с Суриковым какой-то предварительный договор…

А года через два я даже был гостем Наташи и Гарри в Лос-Анджелесе. Однако на тот момент, к сожалению, идея участия Гарри в судьбе нашего фильма уже улетучилась… Отношения Гарри и Наташи стали похожи на тот талый мартовский снег, что они видели однажды на могиле Пастернака; и было очевидно, что вся эта затея с продюсерством нужна была нашему калифорнийскому адвокату только для того, чтобы Наташа поверила – ей повстречался кавалер, не только обладающий капиталом, но и кавалер – мужчина… в полном смысле этого слова, да еще и со слепым стремлением познать «великую русскую культуру», и с заявкой на интеллигентность.

А после того, как эта импровизированная парочка развалилась, идея создания фильма не покидала уже не только меня, но и Наташу. Через несколько лет она нашла какого-то продюсера, и они сделали документальный фильм с Ольгой Всеволодовной, который назывался «Лара – моя жизнь с Борисом Пастернаком». И его даже, по-моему, показали по какому-то немецкому ТВ.

И вот я еду в Лос-Анджелес и знакомлюсь там с двумя бывшими «нашими», которые так же хотели развивать кино в нашей перестроечной России. Одного звали Юрий, другого – Дэвид. Я рассказал им о некоторых проектах, которые находились в моем «портфеле», это были и музыкальный фильм «Театральный сезон», и документальный фильм «Идолы», и, конечно же, – главный козырь – «История Пастернака». Именно этой истории они и отдали свое предпочтение: сразу же раздобыли книгу Ольги Всеволодовны «В плену у времени. Годы с Борисом Пастернаком» и, прочитав, тут же стали обсуждать со мной возможность получения прав на нее. И так же – кто бы мог написать сценарий и сколько бы это стоило. В итоге решили: я найду сценариста, уговорю Митю, а он – маму, и начнется

работа.

К счастью, искать мне не пришлось, у Ольги Всеволодовны и Мити был друг, прекрасный сценарист из Литвы, Пранас Моркус. Пранас часто бывал в этой семье, хорошо знал Ольгу Всеволодовну. Когда я его увидел впервые, меня поразили его такт, умение слушать собеседника и манера излагать свои мысли так, что они потом не покидают слушателя. Мне запомнилось его живое лицо, глаза светлые, заставляющие верить всему, что он говорит. Естественно, наше знакомство с Пранасом без рюмки не обошлось. За рюмкой меня Митя и представил и, как мне кажется, приукрасил мою, новую для Пранаса персону, не без иронии сделав акцент на моем дурном упрямстве: «дорулить» историю с фильмом до конца.

Позднее наши застолья проходили в некоторых злачных местах Москвы, где Пранас мог увидеть меня в естественной для меня обстановке – в окружении огромного количества знакомых, завсегдатаев, барышень и т. д. В те времена в Москве было два знаковых места, где собиралась так называемая богема. Это ресторан «Дома Актера ВТО» и ресторан «Дома Кино». Кстати, мы и повстречались с Митей как раз где-то между двумя этими домами. Близкие друзья Мити, которых я знал ранее; уникальный художник-реставратор Сережа Богословский, Валера Нисанов, который звался не простым фотографом, а фотохудожником, что бесспорно тешило его самолюбие, Сева Абдулов, потрясающий человек, артист, наиближайший друг Владимира Высоцкого, да и сам Володя, – все они звали его почему-то Митечкой.

Так вот, Сережа Богословский, большой знаток поэзии, он, на мой взгляд (да и не только на мой), был настоящим виртуозом слова. У него был свой стиль повествования и рассказа, ни на чей больше не похожий, и все, кому довелось с ним общаться, согласились бы, что его надо записывать. Записывать, а потом – при случае – издать «ликбез»… Ольга Всеволодовна, надо заметить, очень любила этого острослова. Грешным делом, я сразу подумал, что «Митечка» – это выдумка Сережи. Я позвонил ему, чтобы подтвердить свою догадку. Однако здесь моя интуиция меня подвела.

– Не Митечка, а Митечко, – поведал мне Богословский, – это изобрел Пранас, он был мастер на всякие кликухи. И Венечка Ерофеев – это тоже придумал он.

И мне вновь захотелось связаться с Пранасом. Я позвонил ему в Вильнюс с одной только целью – подтвердить версию Богословского, а получилось, что попутно много чего еще узнал интересного.

Пранас попал в дом Ольги Всеволодовны аж в середине XX

века, в 1955 году. Хотя, по его словам, это случилось не так давно. Он тогда учился в университете, и там издавалась стенгазета, литературная. Он и его друзья-сокурсники писали небольшие эссе о литераторах: Володя Муравьев – про Анну Андреевну, Боря Успенский, ныне академик, – про Николая Гумилева…

– …а я про Бориса Леонидовича написал такую статейку. И нас вызывали в ректорат… В общем, я двигался по этим тайным путям порядка. И один приятель привел меня в этот дом, Ольга Всеволодовна, помню, вышла в ярко-голубом одеянии. В 1956 году, солнечной осенью, этот приход состоялся, но Бориса Леонидовича там не было, и я так его никогда и не видел. Но я никогда не стремился к знаменитым людям, они как-то сами меня всегда находили. Но у них дома я чувствовал себя, как рыба в этой пресловутой воде, там была очень семейная атмосфера, а в Литве отношения холодноваты между людьми.

Итак, мы взялись за сценарий, начали писать, работали втроем: в основном, конечно, Пранас, мы же с Митей выполняли функции бойцов «невидимого фронта». Естественно, Митя был старшиной, а я – рядовым. Характерная картина тех дней: мы за столом, а Ольга Всеволодовна восседает в ее любимом кресле, как императрица. Как сейчас помню ее красивый золотистый халат, слева у ноги посапывает Арончик, справа стоит маленький стул с пепельницей, и мы читаем ей эпизоды из ее же собственных рассказов и воспоминаний, описанные нами для нашего сценария буквально за день до того…

Мы получили от наших заказчиков аванс в конвертируемой валюте, разделили его на три части, и где-то через год был готов сценарий на сто с лишним страниц. Вскоре его перевели на английский, а всеми поправками и дополнениями пришлось заниматься уже мне самому.

Здесь хочу заметить, что во время обсуждения концепции нашей кинозатеи, были разные мнения и предложения, на сколько стоит придерживаться исторической действительности: оставлять ли персонажей теми, кем они были на самом деле, улицы и дома, переулки и даты… Сошлись на том, что произведение у нас – художественное, а будущее кино предполагалось показать несведущему в истории великого Советского государства американскому зрителю (и чуть более образованному зрителю из Европы).

И вот, на базе нашей истории, с учетом подписанного Ольгой Всеволодовной для них права на использование материалов из ее книги, окрыленные надеждой два моих новых друга – Юра Спильный и Дэвид Гамбург – нашли еще какого-то американского

автора и написали свою версию, как они говорили, «в формате Голливуда». И даже предлагали главную роль Джессике Лэнг. Но ничего у них не вышло. К сожалению, денег на производство им найти так и не удалось.

Но за тот период, пока мы с Юрой и Дэвидом находились в так называемом творческом контакте, я успел их представить в том же «Совинфильме», тому же Сурикову, к которому водил в свое время Гарри. В итоге был даже сделан один общий проект с «Fox Television Studios»: в Америке это называлось «Cops in Russia», а у нас – «Полицейские в России». А потом уже Юра, Дэвид и Суриков вместе создали кинокомпанию в Лос-Анджелесе, назвали ее «USSR film service corporation». Был крутой офис на бульваре Уилшера, была секретарша, команда адвокатов – все для продвижения советского совместного кинематографа.

Я же, буквально через полгода, сделал попытку запустить эту историю вновь.

На Каннском кинофестивале, куда меня позвали мои французские друзья, я встретил Дэвида Патнема, величайшего кинопродюсера, с которым когда-то познакомился в Москве во время приема киноделегации нашей американо-советской киноинициативой, сокращенно АСК. В то время в структуре АСК находилась моя театральная студия, где я даже получал зарплату для себя и своих актеров, а руководил АСК великий сценарист, писатель, обладатель Оскара – Рустам Ибрагимбеков. Рустам – человек на редкость позитивный, располагающий к себе, поэтому все голливудские звезды с удовольствием пользовались его гостеприимством. Всякий раз, когда приезжала какая-либо делегация, Рустам обязательно давал ужин у себя дома в небольшой, но уютной советской квартире. И, естественно, на всех приемах и ужинах присутствовала моя персона.

Но вернемся на Каннский фестиваль. На своем «хорошем английском» я рассказал Дэвиду про сценарий о Пастернаке, и он сразу же загорелся. Дабы разжевать подробно всю эту историю, мне нужен был человек, который смог бы правильно перевести всю мою авантюру. И так получилось, что в это же время на Каннском фестивале была и Наташа, которая уже сама, без какого-либо мужа, пыталась заниматься продюсированием. Конечно же, этим человеком была выбрана именно она.

Мы встретились втроем на веранде отеля «Маджестик», за чаем. Когда Дэвид увидел Наташу, он еще больше захотел участвовать в этом проекте, и вопрос был решен. Один из самых крупных и титулованных продюсеров согласился взяться за мою историю.

Когда это произошло, я позвонил Мите и рассказал о нашей

победе: наконец-то, мы начинаем этот многострадальный проект! Дальше – было как в кино. В конце мая Дэвид совместно с принцессой Дианой, будучи ее патроном, посетил Украину, а затем – Москву. И, как ни удивительно, сопровождала его в этой поездке все та же Наташа.

Дэвид, я думаю, должен был обязательно познакомиться с Ольгой Всеволодовной, и Наташа все организовала, связалась с Митей, которого знала еще со времен Гарри, с самых истоков всей этой истории.

Дэвид Патнем побывал у Ольги Всеволодовны, и они очень друг другу понравились, и она с удовольствием подписала ему обязательное письмо – права на свою историю. Но так получилось, что письмо это было подписано 29-го мая, а у этих двух моих эмигрантов срок действия их письма кончался только 1-го июня. И вот, когда Патнем начал заниматься развитием этого проекта и вложил уже немалую сумму, об этом узнали Юрий и Дэвид. Пригласив крупного голливудского адвоката, они отсудили у Патнема права на историю, несмотря на то, что сами не могли ее финансировать. Патнем пытался бороться за свою затею, но закон был на стороне этих ребят. В итоге, спустя полгода, Дэвид Патнем позвонил мне и через переводчика (но уже не Наташу) объяснил, что вынужден выйти из игры. А еще через две недели ко мне пришел огромный пакет с перепиской с издателями, адвокатами и квитанциями штрафов. Патнем потратил около 70 000 $ впустую.

И вот я хочу представить на суд неискушенного читателя часть этой самой переписки.

Письмо от крупной адвокатской компании, которая представляла интересы Юрия Спильного и Дэвида Гамбурга.

Weissmann, Wolff, Bergman, Coleman & Silverman
2 июля 1990 г.
Мистеру Дэвиду Патнему от Дэвида Голдена

Дорогой мистер Патнем,

Мы представляем корпорацию «Спильный/Гамбург филмз» и «Союзкиносервис» СССР.

Нашего клиента уверяют, что вы ведете переговоры с Ольгой Ивинской по поводу экранизации ее книги «В плену у времени». Если это правда, то вы вмешиваетесь в контрактные соглашения. В таком случае прошу обратить внимание на следующие факты:

Наш клиент заключил договор с Ольгой Ивинской в июне

1989 г., что дает нашему клиенту право первого отказа на историю ее жизни и роман «В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ».

12 марта 1990 г. наш клиент воспользовался правом первого отказа, передав письменный договор Ольге Ивинской.

Если информация нашего клиента о ваших действиях верна, мы требуем немедленного прекращения всех ваших переговоров с Ольгой Ивинской.

Наш клиент потратил много времени, денег и сил, разрабатывая этот проект, и заключил разнообразные контрактные соглашения с авторами, продюсерами и спонсорами. Этим письмом мы требуем от вас немедленного подтверждения прекращения контактов с Ольгой Ивинской.

Это письмо не попытка дать полное изложение фактов или изложить позицию наших клиентов. Наши клиенты оставляют за собой все и каждое из своих прав и средств судебной защиты, в законе и в справедливости, и это письмо ни коем образом не должно быть воспринято как отказ от этих прав и средств.

С наилучшими пожеланиями,
Дэвид Голден

Копии: Дэвид Гамбург, Юрий Спильный, Александр Суриков, Эрик Вайссманн[1]

Далее следует письмо адвокатам Дэвида Патнема от издательства «Doubleday», где был напечатан роман Ольги Всеволодовны. Письмо по вопросу о правах.

7 июня 1990
Томасу М. Люину эскуайру от Нэнси Каплан
425 Бульвар Легсингтон,
Нью-Йорк, 10017
В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ Ольги Ивинской

Дорогой Мистер Левин,

В ответ на ваши недавние запросы, касающиеся кино и телевизионных прав на книгу, прошу обратиться с этими правами к издательству:
Либраир Артем Файярд
75 рус дэ Сайнт-Пере
75006 Париж
ФРАНЦИЯ

(телефон: 1.45.44.38.45)

Контакт в «Fayard» – Патриция Берг.

Искренне ваша
Нэнси Каплан,
Менеджер филиала прав

Вот письмо к адвокату Спильного и Гамбурга от издательства «Fayard».

5 июля 1990 г.
Дэвиду Голдену от Патриции Берг
ФАКС № 19 1 213 550 7191

Дорогой Дэвид Голден,

Я с изумлением узнала, что вы писали Дэвиду Патнему письмо, в котором угрожали ему уголовным преследованием.

Мистер Патнем передал мне ваше письмо, датированное 27-м июня. Я внимательно его прочла и обратила внимание, что ваш клиент утверждает о соглашениях с Ольгой Ивинской, установленных в июне 1989 и затем – в марте 1990.

На сколько я знаю, вы не в праве утверждать, что эти «соглашения» действительны без предварительного договора с «Fayard», так как «Fayard» – это единственный правообладатель «В плену у времени».

Потому, я требую уточнения по поводу того, как, когда и с кем у вас были соглашения, и на каких правах.

Чтобы сберечь время, вы получите ксерокс сертификата авторского права (на русском и французском языках).

Жду от вас скорейшего ответа.
С наилучшими пожеланиями
Патриция Берг,
Менеджер по правам

Копии: Ольга Ивинская, Александр Суриков («Союз-киносервис»), Дэвид Патнем, Анна Ласкар

А это одно из последних писем Юрия Спильного, адресованное Дэвиду Патнему.

19-12-1990 г.

В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ

Дорогой Дэвид,

Дэвид Гамбург, мой партнер на этом проекте, встречался с Ольгой Ивинской и Дмитрием Виноградовым в Москве, и они ему сказали, что «Fayard» склоняется к решению именно в вашу пользу. Как я заметил в моем предыдущем письме, пусть победит сильнейший. И я рад, что есть шанс, что эту чудесную историю воплотит человек с вашим опытом.

Мы с радостью поможем вам в процессе, и наиболее важный шаг в данном направлении, как я считаю, – это прийти к согласию – чтобы все то время, деньги и надежды, что были затрачены нами на этот проект за последние два года, не пропали впустую, а напротив, если потребуется, – все наши усилия помогли бы вам достичь наибольших успехов с этим проектом.

Мы можем предоставить услуги (технические/юридические) для данной картины, если вы будете снимать ее в СССР. Предлагаю Вам дать гарантию на предоставление данных услуг по разумно конкурентным основам, что значит, если кто-то может предложить вам цену за услуги ниже, то мы бы могли прийти с вами к этой цене, в случае разумных оснований, что также может рассудить третья сторона на которую мы взаимно соглашаемся. Наш опыт и репутация в данном деле хорошо известны как в США, так и в СССР.

Еще один пункт нашего соглашения – разумная компенсация убытков, которые мы понесли за эти два года. Мы оценили общую сумму наших расходов приблизительно в $40 000, но готовы согласиться на $20 000.

Уважаемый Дэвид Патнем,

Мы с Наташей Дубровской долго обсуждали этот проект, и она упомянула, что вы – весьма рассудительный человек. Я этому очень рад и более чем согласен прийти с вами к соглашению в отношении проекта «В ПЛЕНУ У ВРЕМЕНИ».

Желаю вам чудесного праздника и мирного, и процветающего Нового 1991 года.

Искренне ваш,

Юрий З. Спильный
Президент

Копии: Наташа Дубровская, Дэвид Гамбург, Александр Суриков

И вот чем закончились все наши мытарства с этой «киноэпопеей».

2 апреля 1991 г.

Дорогой Анатолий,

Я делаю все возможное, чтобы воплотить этот проект, но я очень разочарован упрямством французского агента Ольги. Вся приложенная переписка введет вас в курс дела, а также, вы увидите, что я взял на себя обязательство перед мистером Спильным как раз в той области, о которой вы говорите в начале второй страницы своего предыдущего письма.

В итоге, как я понимаю, у меня есть договоренность с Наташей Дубровской, которая мне понятна и которую я буду выполнять. Все остальные взаимоотношения, будь то с Ольгой, с вами или с кем-либо еще, вовлеченным в этот проект, должны быть организованы через Наташу, просто-напросто потому, что у меня нет возможности иметь дело с множеством конкурирующих претензий и амбиций и, ради моего спокойствия, я готов взаимодействовать только через одного человека.

Я предполагаю, что вы останетесь на связи с Наташей и убедитесь в том, что вы все пришли к соглашению и чего именно хотите вы. И что вы можете предложить.

Я искренне надеюсь, что во всем этом для вас есть смысл, потому что в случае, если существующая путаница и встречные требования продолжатся, у меня не будет другого выхода, как вежливо, но решительно отказаться от всего проекта.
Дэвид Патнем

Копия: Наташа Дубровская

Это письмо давало мне надежду, правда, совсем крохотную, что не все потеряно и фильм еще сможет состояться. Наверное, нужно было не опускать руки и постараться разобрать весь этот запутанный клубок, но… Меня очень покоробило, что мои

изначальные партнеры, Юра и Дэвид, даже не поставили меня в известность о своей весьма длительной переписке с Патнемом… Вся эта мышиная возня вокруг издательств, агентств, прав, юристов, завязавшись за моей спиной, ни к чему хорошему не привела. Что в итоге??? «Пшик»! Все надежды, все планы, все чаяния – впустую – до финала этот «водевиль» так никто из нас и не доиграл. Плюс в затее разуверились Ольга Всеволодовна и Митя… В общем, все это подсыпало изрядную долю негатива в мои светлые помыслы, и, признаться честно, на тот момент у меня уже не было никаких сил и, главное, пропало всякое настроение как-либо участвовать в этом проекте, несмотря на то, что меня, по сути, можно назвать зачинщиком этой многострадальной «эпопеи».

Такая вот история… с этим, так и не снятым никем, кино.

P. S. В начале 2000-х мне пришла идея сделать из нашего сценария роман. Ни Ольга Всеволодовна, ни Митя, к сожалению, в моем «знатном почине» мне уже пособить не могли. Я обратился к Пранасу. И Пранас меня искренне благословил на эту наивную затею, отдав всю инициативу и дело целиком в мои руки. А что страшнее дурака? – Дурак с инициативой!!!

Спустя пятнадцать лет, в нашем последнем разговоре, Пранас еще раз подтвердил свое решение отдать авторство мне и готовность стать уже… простым читателем романа.

Глава 0
Нобелевская премия. Отказ…

Каждая цивилизация, каждый век создают и продолжают, пока они длятся, свои ритуалы, награды, соревнования. Коронации. Избрание Папы Римского, некогда умершие, а потом воскресшие Олимпийские игры. Ежегодные Нобелевские премии, – детище ушедшего века.

Нобелевские премии по литературе, являющиеся своего рода помазанием в духовные поводыри человечества, почти всегда разжигают особые страсти. В списках лауреатов найдем и надежные, временем испытанные имена, и имена случайные, прочно забытые. Есть имена отсутствующие, как например Лев Толстой или Хорхе Луис Борхес, иначе говоря, те, которые там обязаны были быть, но почему-то не попали.

Но есть в этих списках имя, отмеченное легендой. Это имя Бориса Пастернака, достойное имя. Его роман «Доктор Живаго» остается живым и сегодня, более чем полвека спустя после выхода в свет. Для многих миллионов читателей он и по сей день остается единственным ключом к пониманию великого революционного приключения России.

Если бы кому-нибудь удалось снять наш фильм… «Вы сейчас увидите документальные кадры, которых не найдете в синематеках мира, ни в одной любительской съемке. Не найдете, потому что их нет. Но мы должны согласиться, бывают в мире некоторые странности. Совершим усилие памяти: эти документальные кадры как будто когда-то на самом деле были увидены нами.

Внимание:

1958 год, Стокгольм. Вручение Нобелевской премии по литературе Борису Пастернаку.

Сначала из серых, гладких и раскачивающихся вод Балтийского моря возникают скалообразные очертания северного города. Последний месяц года, и поэтому – почти зима, ранние сумерки, дожденосные лохматые тучи; даже цветное кино тут давало бы черно-белое изображение.

Но вот и сам город, выстроенный из того же могучего, сурового скандинавского камня, из которого возведен и Петербург. Толпа, охваченная предчувствием рождественской распродажи, в витринах уже разряжены елочки.

Борис Леонидович останавливается возле одной и, показывая рождественскую звезду на верхушке, с воодушевлением, упоенно

что-то говорит спутникам.

Вот еще одна витрина, судя по всему, левацкого книжного магазина: серпы да молоты повсюду и на темной плюшевой подставочке – свежеизданная биография Иосифа Сталина с яркой фотографией тех лет, когда он уже входил в силу. Борис Леонидович обращает на нее внимание, и происходит что-то вроде обмена взглядами. А вот и знаменитое здание Академии, оцепленное вереницей самых для того времени дорогих, но для нынешнего восприятия – весьма архивных автомобилей. Борис Леонидович, как и полагается для такой церемонии, в цилиндре и фраке (ах, как они ему идут!), вокруг – студенты, оркестр, охотники за автографами, нахалы фотографы.

Вот и залы… Богатая белая лепка, женщины в сверкающих туфлях, августейшие особы, веселая жизненная мишура, чопорно-жеманный ритуал, латинские слова в вердикте Шведской академии, брызги шампанского…

Наступает момент, когда он вправе и обязан сказать миру все, что знает о жизни. И это будет потом обозначено, как голос России, голос человека середины века.

Он выходит на подмостки: «Вот я весь». Он смотрит в маленький, столь вожделенный для многих зал, где кроме множества незнакомых лиц – и те, кого он в этот момент хотел бы рядом с собой видеть: жена, дети, два-три российских приятеля, Ольга, ее дочь да сын.

Зал затих, а Борис Леонидович вдруг чувствует, что немеет, как это иногда случается с актерами на премьерах спектакля.

Невыносимо долго он стоит, опустив голову, а потом произносит внезапно охрипшим голосом:

– Я отказываюсь от этой премии, потому что меня попросила об этом одна женщина. Почести, признание, золотые дожди не стоят ее отчаяния и страха. Если бы мне повезло за счет ее страданий, я был бы очень несчастлив.

Глава 1
От начала века до…

Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Небо очистилось, но тут же стало стремительно выцветать, и вместе с ним покрывались пеплом осенних сумерек подмосковные леса.

Когда же черный, помеченный красным крестом, довоенной модели автомобиль свернул с асфальтовой полосы и, миновав разваливающиеся ворота некогда именитого поместья, зашелестел шинами по аллее могучего парка, стало и вовсе темно.

Медицинская каретка остановилась, из нее неуклюже выбрался ее пассажир и сопровождавшая его женщина невысокого роста в светлом плаще. Она тут же вошла в подъезд – улаживать деловую часть.

Этот санаторий, как и многие социальные учреждения того времени – детские дома, райсобесы, – находился под Москвой, на территории старой усадьбы. Кому принадлежало это поместье, сейчас уже трудно сказать, судя по его плачевному состоянию, видимо, помещику средней руки.

Пока женщина отсутствовала, прибывший стал осматриваться; слегка растерянно, слегка испуганно. О том, что его доставили в больницу, свидетельствовал разнообразный медицинский хлам, зарешеченные флигеля, белый халат медсестры в окне второго этажа.

Во дворе темнело. На двор залетели и стали высматривать, где им сесть, две сороки. Ветер слегка пушил и раздувал их перья. Сороки опустились на крышку мусорного ящика, перелетели на забор, слетели на землю и стали ходить по двору.

Вдруг неизвестно откуда, словно из-под земли или как черт из табакерки, возник человек и хитро хихикнул. Он был небольшого роста. Одет очень странно: длинное серое драповое пальто, такой же серый шарф, а на голове у него красовался темно-синий берет. Он постоянно поправлял левой рукой круглые очки и с какой-то нелепой застенчивостью переминался с ноги на ногу. И, будто адресованную из мусорного ящика, бросил реплику:

– Сороки – к зиме…

Борис Леонидович посмотрел на него, отвернулся.

Человек в берете продолжал:

– А я вас откуда-то знаю.

Тут снова появилась женщина, доставившая его сюда.

Судя по ее обеспокоенному взгляду, осматривавшему все вокруг, можно было догадаться, что эта женщина – Зинаида Николаевна, жена писателя.

Она поправила свою шляпу, взяла Бориса Леонидовича под руку и повела его в невероятно длинный, плохо освещенный пустой коридор, в комнату с портретом вождя над этажеркой и сонной регистраторшей, вяло перелистывающей доставленные ей бумаги; та заполнила карточку, велела расписаться, потом достала из шкафа и подала Борису Леонидовичу комплект жесткого сероватого больничного белья.

Он взглядом распрощался с женой. Они всегда так расставались: без слов – глазами.

И вот он раздет и лежит в чистом, больничными запахами пропитанном белье, на свежеустланной постели в узкой, как лодка, и высокой палате, и сестра подает ему две пилюли и стакан воды.

В дверь палаты постучались, и вошел человек с шахматами в руках. Это был тот самый незнакомец в синем берете, который совсем недавно посылал «крылатую» реплику.

– А я еще забыл сказать, что сороки не только к зиме, но и к вестям. Письмо вас ждет… или гости заявятся.

Он раскрыл доску, поставил ее на столик и стал размещать фигуры. По тому, как он это делал – вперемежку черные с белыми, – Борис Леонидович догадался, что перед ним самый настоящий сумасшедший. Невольная улыбка возникла на его лице. Партия должна была получиться увлекательной.

Он не ошибся. Фигуры прыгали, как хотели.

«Сумасшедший» принял самый, что ни на есть, серьезный вид и сказал:

– Должен вам представиться, не так ли? Ведь принято? Я вам первому представляюсь, потому что вы внушаете мне доверие. Я… Иосиф Сталин.

Борис Леонидович вскинул брови.

– О! Выходит, мы с вами некоторое время назад разговаривали по телефону.

– О чем же?

– Вы меня расспрашивали о таком поэте Мандельштаме. Слыхали?

– Нет. Но звонить по этому поводу могу. Ну, и что дальше?

– Мы поговорили. Я сказал, что хотел бы вас спросить еще о жизни и смерти, а вы положили трубку.

– Я был очень занят.

– Чем?

– Ну, это долго объяснять. А вы, как я понимаю, писатель?

– Был, когда-то писал. Больше не пишу и не буду, наверное.

– А у вас очень несчастный вид. Небось, целый год не спали.

– Целый год.

– Что ж вы так?

– Я был за границей, где живут мои родные. Я не видел их четырнадцать лет. Мне надо было сесть на поезд и проехать сотни километров, а я не поехал, потому что боялся.

– Ну, сечь они там вас не стали бы: вы уже большой.

– Я боялся, что вы меня за это расстреляете.

– Вы доктор, я же вас помню, только позабыл вашу фамилию. Ну, вы ее мне потом напомните. За границу вы не ездили, это вам только приснилось. Вы – доктор, от революции скрывались по городам да захолустьям, в Москву осмелились заявиться после НЭПа. Опустились, женились на дочери бывшего вашего дворника, детей с ней наплодили… Все верно?

Появилась медсестра. Украдкой посмотрела на Бориса Леонидовича, понимая, что это совсем не простой пациент. Потом бросила укоризненный взгляд на человечка, смела партию с доски, взяла его за «плечики» и выставила в коридор.

– А ну, брысь!

Послышались быстрые шаги доктора Левина. Он вошел и молча обнял пациента.

В лесу было совсем немного пожелтевших деревьев, а в самой глубине он оставался еще свеж и зелен. Послеобеденное солнце пронизывало ветви своими лучами, и листья пропускали свет и горели с изнанки зеленым огнем бутылочного стекла. Доктор Левин, поддерживая Бориса Леонидовича за левый локоть, уводил его к тропинке.

– Давай, погуляем наедине, в стороне от чужих глаз да ушей. Я бы очень хотел помочь тебе, а для этого нужна вся правда.

– Правда очень проста, и ее очень мало. Я схожу с ума. Я погибаю. Будет удивительно, если я уцелею. У меня ощущение, что некая леденящая сила убивает вокруг меня все лучшее, все живое и исподтишка при этом наблюдает за мной: ну как, не сорвусь ли? А я не срываюсь. Вот это и суть области зачаточного безумия.

– В медицинском направлении записано, что у тебя тотальная бессонница, и она длится целый год. Это возможно?

– Как видишь.

– Узнаешь эти места?

Борис Леонидович осмотрелся вокруг и как-то растерянно развел руками.

– Нет.

Левин с пониманием посмотрел на друга.

– Пройдем еще немного…

Лесная тропа привела их на открытую лужайку, примыкающую к вилле, обильно украшенную еще сохранившейся резьбой по дереву. Хозяева ее, как и полагалось, давным-давно сгинули неизвестно куда, потом десять лет или больше она предназначалась для какого-нибудь приюта или дома отдыха политкаторжан и медленно опустошалась. С этой осени для нее начиналась новая жизнь, предполагались пристройки и переоборудование, о чем свидетельствовали строительные материалы. Вот-вот должны были начаться работы, но до их начала следовало вытравить из дома вредный дух прежней хозяйской беззаботной жизни. Этот дух еще теплится по углам высокого чердака в виде изъеденных пылью книг, нотных тетрадей, изрешеченных молью остатков одежды, полуистлевших картин, осколков посуды, бутылок с этикетками давно не существующих вин.

Вот для этого всего хлама и был состряпан в центре лужайки костер.

Борис Леонидович глазел на дом, как зачарованный.

– Ведь я был здесь когда-то!

– Да, более четверти века назад.

– Вот на этой террасе отец писал портрет твоего отца! А на этой ступеньке по вечерам усаживался Балтрушайтис! А здесь ты едва не сбил с ног Льва Толстого. Ну, а что из этого окна?

– Бывало… из этого окна доносился взбудораженные звуки рояля… Играла твоя мама…

– …Скрябина! – он застыл, словно пытаясь снова услышать ту волшебную музыку.

Парочка по-мужски одетых «стройработниц», безучастных ко всему происходящему, вяло подкармливала пламя останками давней жизни. Костер был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только по слюдяным струям горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется.

Любопытство повлекло, и писатель приблизился к костру, носком ботинка спихнул и разрознил одну из сваленных бумажных куч. Обнаружилось два или три ежегодных отчета Всероссийского географического общества, отдельный том свода законов Российской империи, почти сгоревшая книжка чьих-то стихов, и Борис Леонидович подтолкнул ее в сторону пламени, словно приканчивая безнадежного раненого.

И тогда обнаружилась взволновавшая его страница. Это был лист из сочинений Скрябина. Он знал эту музыку, более того – помнил первое ее исполнение.

И он, и Гриша Левин были тогда уже не отроками, но еще не юношами. Дом был покрашен в красно-синие цвета, в окнах того второго этажа качались занавески. Он вспомнил… перед его глазами, в уютной зале, как наяву, возник черный однокрылый рояль. Скрябин играл и что-то пояснял сидящему рядом поэту Балтрушайтису. Вдоль стен залы расположились его отец, мать, доктор Левин.

Но главной достопримечательностью для юноши в тот вечер была незнакомая соседская по даче семья, и не семья собственно, а девушка, их с Гришей сверстница или, может быть, чуть-чуть старше. Был и круглый стол с самоваром и зеленым полушарием лампы над ним: сцена, десятикратно размноженная картинами провинциальных художников.

Скрябин в тот вечер был в особенно приподнятом настроении. Он восторженно делился с аудиторией своей творческой задумкой и, казалось, дирижировал залом.

– Назову свою ораторию «Ковчег», – продолжал Скрябин, – и так как вы, Балтрушайтис, здесь, я предлагаю вам, присутствующему при рождении замысла, написать либретто. Оратория, по этому замыслу, должна спасти мир. Она будет состоять из трех частей: порча земли и человека, строительство Ноева ковчега, потоп и спасение.

Борис Леонидович, да и Гриша, как бы стесняясь друг друга, поочередно заглядывались на прелестную гостью. Она ловила эти взгляды и отвечала легким кивком, причем по преимуществу – в адрес Бориса Леонидовича.

Гриша подсел поближе к другу и в полголоса, чтобы никто не услышал, но при этом не подумал, что они секретничают, сказал:

– Ее зовут Лара. Она, знаешь, на кого похожа? На Катю Маслову в рисунках твоего отца.

Все художники той поры видели в женщинах один и тот же образ. Он возник впервые на картинах художника Россетти, увековечившего таким образом свою жену. Золото пышных волос, лунатический взгляд, мягкость позы и какая-то пронзенность смертью, жажда ее.

Гриша, хорошо зная своего друга и по одному взгляду определивший, что Боря помышляет как бы затеять с незнакомкой беседу, решил взять ситуацию в свои руки:

– Давай незаметно выйдем. Она нас поймет и тоже вслед выйдет. Я тебя познакомлю с ней.

Кавалеры очутились на лужайке перед домом и некоторое время дожидались. Но никто не появился. Гриша заерзал.

– А давай всех удивим!

И изобразил крик ночной птицы.

– А ты умеешь так?

Борис Леонидович попробовал. Вышло похоже. И они закричали, кто во что горазд. Длилось это шальное звукоподражание до тех пор, пока не разболелось горло.

Тогда вернулись в дом.

Взрослые оставались в прежних позах, молчали, задумавшись, даже не заметили исчезновения и возвращения проказников.

– Считается, что, когда вот так кричат совы, это к войне, – произнес Балтрушайтис со свойственным ему видом знатока.

Все с недоумением, не совсем понимая, о чем идет речь, переглянулись.

Лара, кажется, сообразила, в чем дело, и Гриша ей лукаво подмигнул.

Так же, четверть века спустя, доктор Левин подмигнул своему пациенту, стоя перед догорающими остатками прежней жизни.

– А ведь, если подумать, мы и впрямь тогда вызвали войну. До Сараева оставался месяц.

И он направился по дубовой аллее, ведущей к обрыву над рекой.

– Я туда не пойду, – решительно сказал Борис Леонидович.

– А ты по-прежнему так остро помнишь. Как твоя нога?

– Как и предсказывал твой отец. Срослась… но стала короче.

– Но хромота почти незаметна.

– Когда как. Но это спасло меня уже от двух войн.

Левин остановился, посмотрел на Бориса Леонидовича, потом отвел взгляд куда-то в сторону… И затем задумчивым медленным шагом они двинулись в сторону санатория.

– Ну вот. Ты не болен… Ты очень-очень несчастный. Словно заколдованный злым духом в сказке. Но это сейчас почти со всеми. Ты отдохни у нас, а потом возвращайся в город. Раз есть колдовство, найдется и расколдовка.

Глава 2
Зарождение Живаго

В санатории он провел полторы недели. В день выписки домой возвращался так долго, что иной посторонний добавил бы от себя: будто нехотя. Но он не домой не хотел: мучительно было возвращаться в жизнь и, он знал, начинать все сначала.

Это состояние словно передалось выбранному им трамваю. На вагон все время сыпались несчастья; то застрявшая колесами в желобах рельсов телега задерживала его, преграждая ему дорогу. То под полом вагона или на его крыше портилась изоляция, происходило короткое замыкание и с треском что-то перегорало.

Вагоновожатый с гаечными ключами в руках выходил с передней площадки остановившегося вагона, что-то чинил, опустившись на корточки. Движение возобновлялось.

Он сидел на левой одиночной лавочке вагона и видел ровную, ни чем не примечательную улицу. Иногда над крышами вырастали купола храма и снова заслонялись серыми постройками. Старая седая дама в шляпе из светлой соломки и в сиреневом, туго стягивавшем ее фигуру старомодном платье плелась по тротуару. Ее путь лежал параллельно маршруту трамвая. Трамвай то ломался, то, стронувшись с места, обгонял ее, но потом новая поломка заставляла его остановиться, и дама нагоняла его. Она была похожа на смерть.

Пассажир с левой одиночной лавочки был, пожалуй, единственным, кто наблюдал за необычным марафоном трамвая и старухи. Другие, особенно молодые мужчины, оказались втянуты в иное развлечение. Две ладные девки, очаровательные блондиночки, одна – в алом костюме с белым в горошек шарфиком, другая – в светло-бежевом платье, устроили на проходе вагона своеобразное соревнование. Одна из них, та, что в костюме, виляя бедрами, а где надо и слегка касаясь ими плеча сидящего или бедра стоящего мужчины, как бы дефилировала по вагону вперед-назад, пока вторая наблюдала за реакциями и засчитывала «очки» и «баллы». Потом подруги менялись местами. Звучали первые возгласы одобрения…

Неизвестно, чем и когда бы это приключение закончилось, но как только трамвай остановился возле желтеющих зарослей бульвара, та, которая с задней площадки производила подсчеты соблазненных ее соперницей зрителей, неожиданно, без всякой на то причины, спрыгнула на асфальт.

Недоумевающая подруга впопыхах ее нагнала.

– Что же ты, Ольга? Нам еще пять остановок! И мы опаздываем.

Сбежавшая из трамвая, не обращая внимания на возгласы подруги, продолжала молча идти с тревожным видом, погрузившись в свои мысли. Так они прошли в окружную квартала полтора, снова обогнав старуху.

– Там сидел такой человек… и мне вдруг стало страшно! – придя в себя, призналась Ольга.

К краю тротуара, по которому они шли, мягко подкатил открытый черный автомобиль. Там был молодой человек в форме летчика, развалившийся рядом с водителем. Окно открылось…

– Куда подбросить? Судя по всему – нам по пути, – по его лицу скользнула самоуверенная улыбка.

Пока девушки мялись и смущенно переглядывались, их нагнал трамвай, остановился в двух шагах, и Ольга с непостижимой быстротой внезапно скользнула вверх по его ступенькам.

Ее подруга, с сожалением взглянув на молодого человека в форме, вдруг улыбнулась и нехотя поставила ногу на ступеньку вагона.

Трамвай снова тронулся.

– Ну и дура же ты, Ольга! Ты-то хоть знаешь, кто нас звал с собой? Сын Сталина!..

Слегка надув губы, Таня отвернулась в сторону. Ольга тем временем старалась не смотреть на лавочку, где сидел он. Когда же осмелилась и украдкой бросила туда взгляд – лавочка была пуста.

Но к этому времени вагон достигал своей цели. За окном возникли трибуны стадиона, и пассажиры вместе с красотками повалили к проходу.

В тот солнечный день бабьего лета проходил молодежный конноспортивный праздник. Его вел знаменитый усатый кавалерист времен гражданской войны, так что номера этого дня были, главным образом, военные: то и дело вихрем проносились стайки джигитов, ловким взмахом шашки отрубавшие головы чучелам в униформах армии Запада.

Свою роль в апофеозе этого представления суждено было сыграть и Ольге. Четверка мощных ломовых лошадей прокатывала по овалу поля тяжелое сооружение в форме постамента, драпированного алым полотном. А на пике постамента красовались Ольга да какой-то мускулистый парень, оба, соответственно, полураздетые, он – с молотом, а она – с серпом в руках изображали знаменитую скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница», символ целой эпохи.

Когда квадрига остановилась перед трибуной, где восседал маршал, грянул военный оркестр, и человечек, помещенный во внутрь постамента, открыл специальный люк, через который Ольга с соседом по стремянке быстро спустились на землю, причем, ни тяжелый молот, ни поспешность не помешали «рабочему» плотоядно потрогать женщину за ляжку…

…Но вот распахивается полотняный створ, они отступают на зеленый луг и строевым шагом приближаются к трибуне, где, взобравшись на новое возвышение, вопя во всю голосовую мощь, декламируют то, что уже тогда было названо литературным монтажом. Сюжет этой газетной поэмки сводился к тому, что страна с небывалым подъемом штурмует вершины коммунизма, а те, кто пытаются нам помешать, враги разных мастей, будут низвергнуты в пропасть. Буденный казался довольным, кинохроникер его снимал, и публика на главной трибуне неистово хлопала в ладоши.

А публика на других трибунах не без злорадства наблюдала, как увозившая постамент четверка лошадей едва не повалила набок все это пиршество фантазии. К счастью, все обошлось, сооружение благополучно скрылось за ограду. По дороге в раздевалку «рабочий» схватил Ольгу и поцеловал, она же вырвалась из объятий, закрылась на ключик в маленькой дощатой комнатушке и, переждав, стала одеваться. Одежды ее не шли ни в какое сравнение с белыми шелками «колхозницы». Рукава на локтях были потерты. Особым достатком ее семья не отличалась.

Из недр коридора стали приближаться шаги. Звук был с каким-то едва уловимым пропуском, как будто шел хромой.

Ольга застыла, чтобы не выдать свое присутствие.

Так она и не увидела молодого человека в форме летчика. А летчик подождал, прислушался, оглянулся и, так же прихрамывая, стал удаляться.

Пока оркестр играл попурри из известных песен и цокали копыта конницы, она оставалась в своей коморке и штопала свой пиджачок. Но вот закончила работу, и можно было идти… Она стала разглядывать себя в карманное зеркальце… все почему-то медлила.

Когда же, наконец, осмелилась и сняла со скобки крючок, увидела в коридорчике у окна молодого симпатичного человека, не того, правда, а другого, с букетиком полевых цветов в руке. Это был Иван.

Молодой человек с прямым и ясным взглядом подошел к ней и вручил букет.

Эта встреча оказалась одной из важных страниц ее судьбы. Через несколько лет этот молодой парень станет мужем Ольги.

Глава 3
Редакция

Прошли годы, уже было произнесено: «жить стало легче, жить стало веселей», так что внешнее проявление жизнерадостности становилось как бы свидетельством лояльности. Алкоголь мало-помалу входил в моду, да и добавление к нему уже имелось. Так что вечеринки получались сытные, задорные, с песнями да плясками.

«Мы пьем за того, кто писал «Капитал»,

И друга его, что ему помогал…»

Особенно хорошо выводил эту застольную нового времени статный молодой человек по фамилии Фадеев с открытым красивым лицом, выражающим ясность понятий, прямолинейность, суровость принципов и правоту. Держался он тихо, но в нем чувствовали силу и его слушались. Сила в нем была, и в скором будущем обещала стать еще жестче.

«Мы пьем за судьбу…»

Несколькими годами ранее… та же редакция, только окна и двери покрасить еще не успели… Снова тот же Фадеев.

Так вот пелось в редакции в тот вечер. Редакция размещалась в гостиной старого барского особняка с камином, сенцессионными завитушками на потолке и всюду, где только можно. Был, как полагается, и обширный балкон, куда каждые пять минут вылетал человечек и возился с треногой, на которой крепился фотографический аппарат. Его звали Гена…

Однажды вслед ему вышли проветриться и Ольга с мужем.

Отсюда открывался замечательный вид на купола храма Христа Спасителя.

Погода стояла еще мягкая… И легкий ветерок то появлялся, немного развевая их волосы, то исчезал – и возвращалась тишина.

– Полюбуйтесь в последний раз, через полчаса взрывают!

– Кому он мешает? – недоумевая, спросила Ольга.

– Символ… мракобесия! – нейтрально пояснил Гена.

Ольга еще раз посмотрела на сооружение, повернулась и нырнула обратно в зал.

В дверях ее внезапно задел Ривин.

Он внимательно посмотрел на нее, сложив свои ладони, неестественно поклонился и немного заискивающе произнес:

– Ольга, вы замечательно красивы. Если когда-нибудь, даже и в ближайшее время, вас постигнет какое– либо несчастье,

обращайтесь ко мне. Я ваш друг, я обязательно помогу, рассчитывайте.

– Рассчитывать никогда не грех!

Ольга отвернулась.

Муж Ольги стоял на балконе и разглядывал вид с храмом.

– Освещения хватит?

– Попробуем, должно бы хватить. Могли бы бабахнуть и на часок раньше, конечно, – отметил Фадеев.

– Тут, по-видимому, политические соображения, чтобы не раздувать…

– Да, какая разница…

Пирушка продолжалась. Сидящий напротив Ольги темноволосый молодой человек разглядывал какие-то фотографии. Он как-то неожиданно вскинул на женщину по-отрочески воспаленные глаза.

– Хотите посмотреть, чем этот наш фотограф собирается порадовать наших читателей?

– Я вас раз видела в коридорах «Самолета», вы оттуда? – полюбопытствовала Ольга.

– А вы почаще заходите, чего ж разок-то всего? Авторы нам нужны. Мы их ценим.

Он протянул ей через стол несколько фотографий. На всех изображено одно и то же: аудитория амфитеатром, студенты в противогазах и лектор без противо– газа.

– Готовимся к войне, – добавил он.

Ольга, перебирая фотографии, приподняла брови и оживленно выпалила:

– Так ведь я помню, как снимали. А вот это – я сама. А лектор – Поспелов! Он еще так интересно тогда рассказывал о себе!

– Проверим. Велю ему убрать со снимка ваш противогаз. Давайте знакомиться: Саша из журнала «Самолет».

И протянул ей руку.

– А я – Сашин брат, Юра, – громко, с выражением добавил худощавый юноша.

Появился Олин муж.

– Есть предположение, что взрыв перенесен на более позднее время.

– А, так чем мы развлечемся? – словно наперед зная ответ, переспросил Ривин.

– Товарищи, – громко возвестил Фадеев, – у меня есть предложение! Слушайте внимательно. Поскольку у нас тут не просто пьянка…

– А что же еще? – удивился Саша.

– …не просто пьянка, а литературный вечер и – как и

полагается в наши времена изобилия и подъема – с застольем. Давайте и проведем его боевито, как это принято в наши суровые дни. У меня есть предложение. Вот, в последнее время партийная печать остро разоблачает поэта-формалиста Пастернака. А он? А он, видите ли, отмалчивается в своей слоновой башне. Давайте вытащим его за ушко оттуда. Пусть отчитается перед литературной молодежью. Как-никак, нам принадлежит будущее!

– Пощадите Олю! Это же ее бог! – заступилась за подругу девушка.

– Ну, вот пусть она и защитит своего бога! – отрезал Ривин. – Эй, фотограф Гена, ты ж снимал этого Пастернака. Вызови его к нам, помягче, поделикатнее, чтобы он ничего не заподозрил. Ты это умеешь.

Группа нетрезвых коллег поддержала:

– Вызови, вызови!

– Только уберите этот пьяный хлам! – фотограф брезгливо поморщился в сторону стола.

Все притихли. Гена полистал пухлую записную книжку, набрал номер.

– Борис Леонидович? Это вас беспокоит фотограф Гена, вы меня помните, я вас снимал для газеты после вашего возврата из Парижа. Помните? Вот, замечательно! У нас тут собрание литературной молодежи, читаем стихи, спорим, и вот есть среди нас ярые ваши поклонники, они подали мысль пригласить и вас, так сказать, «здравствуй, племя молодое, незнакомое…»

В зале раздался смешок.

Тут он замолк, потому что стал говорить его собеседник. Говорил долго, и лицо фотографа стало выражать нетерпение. Однажды, положив трубку на полочку, он даже успел сбегать на балкон к фотоаппарату.

Ольга понимала, что начинается поругание. Тревожное предчувствие снова охватило ее сердце.

Прислонив к правому уху трубку и наблюдая из окна, как по улице снуют торопливые граждане в серых пальто, фотограф с иронией произнес:

– Сидим вот на замечательном балконе с видом на храм Христа Спасителя! Это Шерговский особняк, вы легко доедете. Второй этаж.

И бросил трубку.

– Приедет, – объявил Гена, – Но сам жалею, что вызвал его. Он та-а-кой зануда!

Закатил глаза.

– Погодите. Он же уважаемый человек, а у нас форменный бардак. Прибираем стол, – скомандовал Фадеев.

На столе, и правда, стояли какие-то бутылки от алкоголя, полупустые стаканы, валялись запачканные чернилами листы.

– Не стоит. Юра, вот возьми, расставь шахматы. Сиди, задумавшись, как Алехин, и будет ажур. Многоцелевой молодежный вечер, – выпустив клуб сигаретного дыма в сторону балкона, самоуверенно предложил Ривин.

– А что, идея! – наивно подхватил Сашин брат, – я буду играть в шахматы!

– Я, если честно, не думал, что он согласится, – низким голосом сказал Саша, – ведь серьезный же человек: как он не учуял розыгрыша?

Саша не глядел на Ольгу, которую муж тем временем ласково и преданно обнял за плечи.

– А я его понимаю, – сказал он, – живет человек, считай, взаперти, ни души вокруг. К волкам выйдешь, не то что к фотографу Гене!

– Ничего, Оля его защитит!

А Ольгу какая-то сила вдруг подняла и, вырвавшись из объятий, она выбежала на лестницу, скинула туфли и легкими ногами побежала прочь.

Куда она бежала? Куда глаза глядят.

А через некоторое время, озираясь, крадучись, из того же подъезда, вышел Саша: потоптался на месте и потом, включив интуицию, уже решительно зная, что угадал, куда скрылась женщина, направился вперед.

Храм Христа Спасителя еще возносился над древней Москвой. Быстро темнело. На улицах стало теснее. Дома и заборы сбились в кучу в вечерней темноте. Надвигалась жаркая душная ночь.

Фотограф Гена со своего поста на балконе первым заметил приближающегося к особняку человека.

– Идет!

В гостиной уже горел свет.

Народ несколько угомонился, а когда гость переступил порог, на миг и вовсе все затихли. Борис Леонидович несколько изменился с тех пор, как встречался с доктором Левиным. Стал похожим на человека, которым владеет некая тайная мысль: так было на самом деле.

Это обстоятельство помогало ему многого не замечать: того, в данном случае, что его заманили на склизкую попойку, что какой-то хилый человек силится играть с ним в шахматы, где фигуры на доске расставлены черт знает как, что встреча с «молодым-незнакомым» племенем заранее оговорена как его,

Бориса Леонидовича, растерзание.

– Как вы относитесь к стихам Есенина? – нарушил молчание Иван.

Его отстраненный вопрос уже скрывал в себе признаки беспокойства по поводу отсутствия Ольги.

– Ракета! Через минуту взрывают! – прервал разговор Гена.

Все высыпали на балкон, Борис Леонидович последним, как бы сомневаясь, стоит ли на это смотреть.

Храм Христа Спасителя доживал последние секунды. Сигнальная ракета медленно, как пушинка, опускалась к скромно одетой в сумерки земле. Она исчезла, и силуэт храма стал раскалываться, рушиться. Когда храма не стало, донесся и взрыв.

– Ура! – с каким-то неподдельным спокойствием и оттенком злорадства произнес Ревин.

Но его почему-то никто не поддержал. Стали возвращаться к столу. Олин муж воспользовался замешательством, быстро сбежал по лестнице вниз и очутился на улице.

Ольга находилась совсем неподалеку от места взрыва, и как только прекратился грохот рушащихся глыб, ее охватило густое облако едкой белесой пыли. Она закашляла, начала протирать глаза и, наконец, скрылась в подъезде.

Когда же облако миновало и улеглось, она вышла.

И тогда увидела Сашу. И засмеялась. И он засмеялся. Оба были похожи на мукомолов.

– Бьют Боженьку по всем статьям, – Саша как-то грустно улыбнулся, обнял женщину и поцеловал ее; она ответила на поцелуй.

В это время Бориса Леонидовича уже начинали колоть во все бока… Гостиная, где снова царил шум и гам, играл граммофон, кружились пары, превратилась в индейскую баню… А вокруг стола собралась приличная толпа.

– Вы отдаете себе отчет, что нынешний исторический момент особый? И вот, например вас в этот момент, конкретно, вот сейчас, что вас лично, например, волнует?

– Одно место из Писания, – почти сразу ответил писатель.

Участники застолья переглянулись.

Пастернак продолжал:

– Когда Ною было поручено приступить к строительству ковчега, это казалось безумием. Во-первых, объем работы… Таких размеров судно впервые удалось возвести к концу прошлого века, да и то с использованием огромной рабочей силы, механизации и так далее. А тут – один человек всего. Но меня не это даже поражает, а то, где именно ковчег строился. В кукурузных полях,

в трехстах километрах от моря, где надо вымаливать у неба каждую каплю дождя.

– Что думали по этому поводу соседи Ноя? Это же продолжалось около ста лет. Были ли попытки это пресечь? Может, убить его? – с какой-то даже мягкой издевкой спросил Фадеев.

– Обязательно. Были. Но, думаю, никчемные, потому что ковчег должен был появиться.

Какой-то человек с красивым лицом кисло ухмыльнулся.

Фадеев, внимательно выслушав ответ, снова обратился к писателю:

– Так ведь вы сами, Борис Леонидович, от нашей клокочущей жизни – за тысячу триста километров, и вокруг вас, если так можно выразиться, каменистая пустыня, без людей, без жизни. Вас можно было бы и пожалеть, если бы не ваша, скажем прямо, двурушническая позиция. Вы продолжаете писать, стало быть, хотите, чтобы вас услышали. А вам есть, что сказать людям? И не есть ли вами говоримое, якобы невнятное, попросту шифр? Вот вы пишете в одном месте: «Поел живьем». Стало быть, у нас где-то человечиной питаются? Где вы это видели? Я спрашиваю: вы это видели своими глазами?

– Да, видел.

Шум вокруг стола неожиданно затих.

– То есть как?! – покосился на него Ревин.

– Лет пять назад, во время писательской поездки по колхозам. На полпути к какой-то деревне наша машина испортилась, я вышел побродить по лесу, заблудился, вышел к поселку возле речки, зашел в избу. Там за столом сидело несколько человек, они ели… мне кажется, это был ребенок.

– Своего, что ли?

– Зачем своего, когда чужих вокруг полно, да беспризорных! – то ли с иронией, то ли серьезно ответил за него Гена.

– А я бы своего съел, а то, если не я его, то он – меня! – с небрежной иронией отозвался Сашин брат.

Тут уже Фадеев решил взять ситуацию под контроль, строго посмотрев в сторону Сашиного брата, и посоветовал:

– Поумерьте свой аппетит.

– Ну, фантазия у вас, как у Жюль Верна, «Дети капитана Гранта», ни прибавить, ни отнять, – решил свести все к шутке человек с незапоминающимся лицом, – да вот только жаль – не в ту степь. И вообще… никто так явно не нарушает нашего коммунистического образа мысли и жизни, как вы, Борис Леонидович. Да еще, плюс ко всему, гусей дразните. Понимаете, о чем я говорю? Не думали ли вы когда-нибудь о том, что вы

ходите по краю пропасти? Что ваше имя, например, может быть помещено в какие-либо страшные списки?

Пыль улеглась, но ночь была такая жаркая и душная, что от каждого движения бросало в пот. На набережной появилось несколько влюбленных парочек. Среди них показались и Ольга с Сашей, сами похожие на влюбленных.

Они, не торопясь, шли плечом к плечу и что-то увлеченно обсуждали.

Над тем местом, где еще час назад возвышался храм, светила блеклая луна.

Пылали костры, и в их свете начиналась поспешная разработка руин. Дюжина сильных парней дробила ломами и кувалдами обломок купола с изображением голубя на нем.

Это привлекло внимание Ольги, и она захотела подойти чуть ближе, чтобы рассмотреть обломок. Саша последовал за ней.

– Когда я, бывало, заходила в этот храм, то этот голубь наверху казался таким маленьким… он был едва различим.

Теперь же на земной тверди лежала распластанная двухметровая птица, охваченная языками пламени.

Шагах в десяти какой-то обезумевший человек, держа перед собой икону святого Николая, молился и вскрикивал время от времени.

– Заступись, Николушка, погаси костры сатанинские, воскреси храм Господень!

Но костры продолжали пылать, и голубь надежды исчезал на все времена. И тогда тот человек швырнул икону в пламя.

– Ну, коль нет от тебя помощи, так сам себя туши!

И зарыдал.

Ольга, будто зачарованная, смотрела на пылающую икону.

– Жалеешь Боженьку? На, возьми себе! – один из разборщиков руин с почерневшим от копоти лицом выудил щипцами пылающий квадрат иконы и протянул женщине.

Взять, потушить на груди, спасти? Но Ольга отступила шаг назад, решительно отвернулась и пошла прочь.

Саша провожал Ольгу до самого ее переулка. Дойдя до ее дома, они оба вдруг остановились.

– Ого! – изумился Саша.

Шагах в десяти чернела «маруська», кованный железом грузовик для перевозки арестантов. Видно было, как усатый водитель, нервно покуривая и поправляя свою кепку, выглядывал в приоткрытое окно, ожидая очередную «добычу».

– Из нашего дома каждую ночь забирают, – с деланным спокойствием отозвалась Ольга.

Оба помолчали.

Саша, первый подняв глаза на Ольгу, приставив правую ладонь к виску, как офицер той, еще царской армии, произнес:

– Итак, до послезавтра?

– До послезавтра!

Прощальный поцелуй, и по аллее дворика Ольга направляется к подъезду. На лестничной площадке она поправляет прическу, разглаживает платье, и за это время по звукам наверху, да по внезапно подступившей тревоге догадывается, что берут из ее подъезда. Она быстро взбегает по лестнице – но берут от соседей. На этот раз обошлось…

Так же взбегала она по лестнице несколько лет спустя, и так же замерло сердце, когда дверь ее собственной квартиры оказалась приоткрыта…

Чувствуя, как холод подбирается к ее сердцу, она подходит и толкает дверь…

Сколько раз она видела, как это делают с другими, ну вот, наконец… Она видит коменданта дома, двоих вооруженных и униформированных… маму… в этот душный летний вечер слишком плотно одетую, почти по-зимнему.

– Мама! – в порыве крикнула Ольга.

– Не беспокойся, Оленька, это только за мной. Сядем перед дорожкой, – будто заглаживая свою вину, пыталась успокоить Мария Николаевна.

Сели, кто куда, молча… Когда ее увели, остался несчастный, раздавленный свалившимся несчастьем отчим, ребеночек в колыбели, да наспех развороченная квартира: не то полуобыск, не то поспешные сборы в тюрьму.

В ее памяти остались последние слова мамы:

– Вот такая вот жизнь… никто из нас не знает, где теперь его дом.

А для Бориса Леонидовича продолжался тот вечер 1931 года…

Шагая отрешенно от мыслей, он миновал озаренное кострами побоище, не приближаясь к нему.

Луна стояла уже высоко в небе. Все было залито ее густым, как пролитые белила, светом. У порогов казенных каменных зданий с колоннами, окружавших площадь, черными коврами лежали на земле их широкие тени.

Дорога домой вела мимо Кремля.

Ни с того, ни с сего ему повстречался человек, задавший ему на вечере вопрос о Есенине, а потом исчезнувший, так и не дождавшись ответа. Писателю померещилось, что тот вроде снова хочет его о чем-то спросить, но встречный проплыл мимо в лунатическом оцепенении.

Еще ему попалась стайка школьников, застывшая у каменного борта набережной. Подростки, как зачарованные, глядели на единственную светящуюся точку по ту сторону реки, в одном из окон кремлевских глыб.

– Ну, вот откуда ты знаешь, что это окно товарища Сталина? – настойчиво спрашивала школьница.

– Это секрет, – уверенно отвечал ей мальчик.

– Как ты думаешь, товарищ Сталин сейчас пишет? Или читает? Или улыбается, задумавшись? А, может быть, он думает о нас с тобой?

Борис Леонидович почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он прошел еще пару сотен метров и был вынужден опереться руками о каменный борт, чтобы немного отдохнуть.

Школьники уже ушли. Совсем-совсем одинокий, он стоял на набережной, уставившись, как и те, в магическую точку сталинского окна.

И все, что накопилось в последние годы, в этот страшный вечер, все предчувствия его будущей жизни вдруг вылились в пронзительный отчаянный совиный крик.

Глава 4
Война, война…

Когда-нибудь, когда Вторая мировая превратится в пресный сон, в бумажную игрушку на рождественской елке, как Отечественная 1812-го, рассматривая старые хроники, зрители поразятся, каким пышным гигантским спектаклем была эвакуация Москвы летом сорок первого года. Архивы учреждений выбрасывались в тюках из окон прямо на мостовую, тюки разрывались, и ветер разносил белые страницы, заполненные судьбоносными для многих словами по улицам и переулкам. Документы смешивались с немецкими пропагандистскими листовками. Та московская осень на улицах была белой, предвестье жестокой зимы.

Сварщики разрезали на трехметровые стальные поленья каркасы недостроенного здания Дворца Советов на месте храма Христа Спасителя и лепили «ежей» для противотанковых полос.

Но наибольший восторг еще остающейся в столице детворы вызывали военные дирижабли, которых перед тем, как выпустить в подмосковное небо, торжественно, словно в траурной процессии, провозили по Садовому кольцу.

Тем не менее, немецкие бомбардировщики налетали ежедневно и в точно установленное время. Тогда город оглашался устрашающим воем сирен, жители прятались по подвалам и станциям метро. Оставаться дома было строжайше запрещено, да и кто бы осмелился?

В небе, как шпаги фехтовальщиков, скрещивались друг с другом прожекторы противовоздушной обороны. Немцы, тем не менее, попадали в цели, и люди гибли. И можно было бы, стоя на крыше дома, любоваться неповторимым зрелищем, как некогда Нерон. Но любоваться тогда не могли, да и не было на то ни минуты.

Борис Пастернак был определен в противовоздушную оборону, в группу по охране зданий, и еженощно дежурил на крыше двенадцатиэтажного дома. Фугасные бомбы попадали в жестяные скаты, пробивали покров, искрясь, шипели. Дежурные их поспешно тушили.

Свистели осколки… Борис Леонидович стал свидетелем гибели человека.

Тут же ему пришлось броситься к зажигательной бомбе, и он с неожиданным для крупного человека проворством ее погасил.

Глава 5
Студенты

В тот вечер он доверил себя роялю.

Он играл и тогда, когда клавиатура стала погружаться в густые слои сумерек и приходилось набирать аккорды наугад.

Настойчиво повторялось юношеское воспоминание о скрябинской попытке создать мистерию, которой предстояло спасти мир: медленно, словно весы, раскачивающаяся серая гладь северных морских вод, постепенно выступающие скалообразные очертания прибрежного города, дыхание вечности…

Послышались шаги, и он вспомнил, что он в доме, что сейчас с ним заговорят. Он прервал игру, закрыл крышку инструмента.

С порога на него смотрела Зинаида Николаевна, его жена:

– Сегодня тебе хорошо игралось.

– Меня преследует ощущение, что в моей жизни должно что-то измениться, – ответил Борис Леонидович после небольшой паузы.

– Ну, а пока – к тебе поклонники! – в голосе жены прозвучала заметная нота радости. – Не пойму только, школьники они или студенты?..

Супруги перешли в гостиную, и Зинаида Николаевна объявила:

– Вот, гости. Говорят, приехали к тебе из-под Иркутска. Один из них – Романеев.

– Да мы, собственно, рядом с Иркутском…

– Двое суток на лыжах до ближайшего полустанка, – продолжала Зинаида Николаевна.

– Мы поклялись друг другу: как только кончится война – вас навестить. Нам нравятся ваши стихи, – вступил в разговор второй гость, юноша по фамилии Новиков.

– Ну, так раздевайтесь! – радостно скомандовал писатель. – Зинаида Николаевна, парную картошку – на стол! Окружим гостей джунглями квашеной капусты. На стол – чайные чашки с видами Фудзи! Ваши имена, молодые люди?

– Новиков.

– Романеев.

– Замечательно! За стол, за стол! Вы, наверное, и сами пишите? В стол, естественно…

Романеев с улыбкой ответил:

– Да нет. Мы уже печатаемся в леспромхозовской

многотиражке.

– Замечательно! Молодые люди, Зинаида Николаев-на, дебютируют раньше меня! Прекрасное начало! А с какими, например, моими стихами вы знакомы?

– Ну… как бы ни с какими, – признался Новиков, – дело в том, что мы нашли в «Новом мире» статью про вас, и там цитируется одно ваше четверостишье. Оно настолько нам понравилось… что, вот, мы здесь…

Юноша раскраснелся от волнения:

– А ваших книжек нигде в библиотеках нет.

Достал листок и прочел вслух:

– Вот это четверостишие…
Тенистая полночь стоит у пути,
На шлях навалилась звездами.
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча мирозданья.

Зинаида Николаевна, словно завороженная, продолжила:

Когда еще звезды так низко росли,
И полночь в бурьян окунало,
Пылал и пугался намокший муслим,
Льнул, жался и ждал финала?

А счастливый Борис Леонидович раздобыл кипу исписанных листов, перевязанных лентой, подарил парням по тоненькой книжке и подписал.

Когда же завтрак был съеден, а парни отправились за пять тысяч километров на восток, супруги некоторое время сидели молча.

Первой не выдержала жена:

– А зачем они все же сюда приходили? Ведь не иначе, чтобы пошпионить!

– Да, побойся Бога, Зина! Какие же они Розенкранц и Гильденстерн? Может же быть так, что кому-то моя поэзия нравится? Очень милые, простодушные парни, – воскликнул с укором Борис Леонидович.

– Не осуждай меня. Я сама завидую тем, кто может молиться, расслабиться надеждой. Поверь, что у стен нет ушей да глаз… Я сделаю все, чтобы тебя сохранить. Разглашаю по всем углам глупости вроде той, что мои дети больше всех любят товарища Сталина, а только потом уже – папу, сознательно нарываясь на

насмешки, сношу их, становлюсь перед тобой на колени каждый раз, когда ты относишь на почту заступнические письма… Ты ведь играешь со смертью…

Борис Леонидович развел руками, собираясь то ли возразить, то ли утешить свою жену, но тут затрещал телефон.

Они вопросительно посмотрели друг на друга.

– Лучше не подходи, – сказала Зинаида Николаевна, – я чаще бываю дома, и знаю, что там скажут.

Но Борис Леонидович решительно взял трубку.

– Да.

– Пастернак, тебе уже выплатили труменовские миллионы? – кинул голос в трубке и тут же послышались гудки.

Писатель положил трубку на рычажок, но не успели супруги взглянуть друг на друга, как звонок повторился.

– Да.

Зинаида Николаевна с тревогой наблюдала за лицом мужа. К ее удивлению, оно понемногу расцветало детской улыбкой. Когда же телефонное сообщение завершилось, она увидела перед собой, как ей показалось, счастливого человека. Ей стало еще тревожней.

Борис Леонидович был вне себя от восторга:

– Это замечательно!..

– Неужели тебе на самом деле присудили Нобелевскую премию?

– Разве я бы так стал радоваться? Если всерьез, то ведь каждый, кто очень-очень пожелает, может эту премию получить. А мне же сейчас представляется уникальная возможность испытать какой-то необыкновенный восторг…«импрессион». Никто из поэтов этого не удостаивался: ни Рильке, ни Пушкин, ни Гете, ни Шекспир… А мне выпало! Звонил приятель, он, по секрету, проведет меня в одно место… и я это увижу своими глазами!

Зинаида Николаевна уже начала испытывать нетерпение:

– Боря!

– Ты же знаешь: уже издана и упакована на складах книга моих избранных стихотворений. Через час ее будут уничтожать, разрезать на макулатуру. Это замечательно!

Он сел за письменный стол и, потирая лоб, представил, как стоит с приятелем в тени, в нескольких шагах от сверкающей ножами машины. Пожилая серолицая женщина подбрасывает в механическую «пасть» пакетики его книг, и беспощадные лезвия расправляются с ними, как мукомольные валы, растирают в пыль живые зерна.

– Я не люблю стихов, которые писал в юности, да и вообще всего, что писал раньше. Сейчас я от них свободен. И сейчас

передо мной белый чистый лист бумаги – знак, что я должен начать писать подлинное, настоящее, то, ради чего я родился, жил на этой несчастной земле, видел, молчал.

Глава 6
Новое чувство

«В ту осень, – пишет в воспоминаниях Ольга Ивинская, – редакция «Нового мира» переехала за угол площади Пушкина. Когда-то в нашей новой резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.

Для редактора был отведен отдельный кабинет. Мы, рядовые, отдельных комнат не имели и ютились по углам огромного вестибюля».

Вот в этом вестибюле, из окна которого виднелась пристройка церквушки Рождества Богородицы в Путинках – казалось, она вылезает на тротуар милыми неуклюжими «лапами», – появился Борис Леонидович в тот обеденный час и, не изменяя своему обычаю, поцеловал женскую ручку.

И это была правая рука секретаря редакции, а левая, между тем, протянула поэту большой конверт, какими пользуются в редакциях.

Секретарь оглянулась, чтобы убедиться, что рядом никого нет, и тихо произнесла:

– Это вам, ваше… Мы не сможем этого напечатать. Поползли слухи, что Шведская академия выдвинула вас на соискание Нобелевской премии, и начальство испугалось, сказало – нет. Вы огорчены?

Пастернак кивнул:

– Да, я огорчен, что Шведская академия выдвинула меня на соискание Нобелевской премии. Ничего, кроме неприятностей, это мне не сулит.

– Не огорчайтесь. Пройдет немного времени, и мы сможем ваши стихи напечатать.

И секретарь редакции ушла, чтобы не травить себе нервы, оставив автора с его стихами в пустом вестибюле.

Борис Леонидович сел на подоконник. Внезапная усталость свалила его с ног. Он почувствовал себя чем-то раздавленным, казалось – все вокруг безысходно, мрачно. Ему стало очень себя жаль.

Секретарь редакции между тем снова вернулась в вестибюль, рассчитывая, что посетитель уже ушел восвояси, и была неприятно удивлена, увидев его на прежнем месте.

Но гость редакции выглядел таким несчастным, безнадежно отброшенным в далекие закутки жизни, что, вопреки своей

служебной обязанности, женщина пожалела его.

За окнами весьма кстати возникли возвращающиеся с обеденного перерыва сотрудники, и секретарша быстро нашлась:

– А, хотите, Борис Леонидович, я вас познакомлю с самой ярой в нашей редакции поклонницей ваших стихов?

Ольга уже приближалась к ним по вестибюлю.

Писатель поднял грустное лицо и улыбнулся.

– А я и не знал, что еще остались поклонники моих стихов…

Работа в редакции заканчивалась, наступил момент, когда Ольга осталась одна. Она то гляделась в зеркальце, прихорашиваясь, то погружалась в раздумья, пока, наконец, вахтерша с упреком не показала ей на часы.

– Сейчас!

Она пододвинула к себе тяжелый черный телефонный аппарат и набрала номер.

– Это Ольга. Держи за меня кулаки – иду на свидание!.. А, по-моему, как бы и первое. А кто знает, когда случается роковая встреча? Страшно – не страшно, иду и все! И загляну к тебе как-нибудь.

Свидания назначались на Тверском бульваре. Даты рождения Бориса Леонидовича и Ольги разделяли два десятилетия, так что встречались в этот вечер в промозглой сырости аллей две далекие эпохи, каждая давала завоевать друг друга, и это всегда называется любовью.

Как же там, на бульваре, в октябрьский переменчивый день, они выглядели? Ни на полтысяче страниц романа «Доктор Живаго», ни во всей известной корреспонденции нельзя обнаружить «реалистического» портрета Ольги, зато как часты «постижения» ее женской сути!

Ольга в своих воспоминаниях отводит внешности героя много места:

«Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами. Вообще – нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде и верить его портретам нельзя. Нельзя, потому что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные, детские жесты.

Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, он был действительно короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрямца, мужчины-вождя. Сразу можно поверить – если целовал, то «губ своих медью». Цвет лица смугло-розовый, и вместе с тем он весь был женственно изящный.

Странный африканский бог в европейской одежде».

Можно добавить: со своей магической улыбкой, предназначавшейся для женщины по имени Ольга.

– Невероятно! – сказал Борис Леонидович. – Мы встречаемся как раз на том месте, где десятилетие назад бедный Осип Мандельштам прочитал мне это свое судьбоносное стихотворение.

– Почему же судьбоносное? – с интересом спросила Ольга.

– Потому что оно послужило причиной всех его последующих несчастий.

– Только ли оно одно…

– Хотите, подарю вам это место?

– Ну, уж только не это!

– Отчего ж? Тогда я и сам от его чтения отмахнулся. А ведь Осип гораздо раньше почувствовал то, что я чувствую сейчас. И сам бы сейчас готов прочитать нечто подобное, только я еще не написал того, что тогда – он.

– Но у вас есть нечто другое…

– Да. Про товарища Сталина!

«Он – то, что снилось самым смелым,
Но до него никто не смел».

Вот что я в те годы писал.

– Но никто о товарище Сталине не писал так проникновенно, как вы.

– О Боже! Ольга, раз вы не хотите, чтобы я вам подарил это историческое место, пройдемте еще полкилометра, и я подарю вам другое место с историей.

– Мы пойдем туда, где венчался Александр Сергеевич? – с иронией произнесла Ольга, представив себе храм у Никитских ворот.

– Именно туда.

В этот момент прошедший было мимо них офицер внезапно остановился и, пристально вглядываясь в лицо писателя, шагнул ему навстречу.

– Борис Леонидович?

Пастернак повернулся:

– Да.

– Я – участник многих ваших встреч с молодежью, давний ваш читатель, я знаю наизусть, по крайней мере, три сборника. Вечером я отбываю, у меня предчувствие, что в последний раз в жизни хожу по Москве, поэтому прошу вас, не отказывайте в моей просьбе: милостиво прошу принять приглашение поужинать

вместе в офицерском ресторанчике… это отсюда недалеко.

Так все трое очутились в небольшом сумрачном зальчике, где общество военных разбавляли всего несколько женщин, включая Ольгу.

– Простите, меня зовут Юрий, – вежливо представился офицер.

– Вы сказали, Юра, это ваш последний вечер в Москве? Это предчувствие? – спросил Борис Леонидович.

– Нет. Только ничего больше об этом не спрашивайте.

– Хорошо. А для меня война кончилась в отрочестве. Я сломал ногу, она срослась с укорочением. Не знаю, к лучшему ли это? Писание нуждается в дополнительном оправдании. Нужно, чтобы с тобой происходило рискованное, неслыханное. А меня все это обходит стороной. Мои друзья-поэты погибли в тюрьмах, да и враги – там же. А меня все это обходит стороной, и это невыносимо. Вы военный, прошу, не обижайтесь на то, что я сейчас скажу… Война спасла мне жизнь. И не только мне – всей стране. Реальные ее ужасы, реальная опасность, угроза реальной смерти оказались благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки, ограничивали колдовство сатанинской силы. Это страшная цена, но и воскресенье куплено-то распятием!

Пришел официант, хозяин стола молча показал на какие-то пункты в меню, появилось угощение. В дальнем углу ссорились два инвалида, сверкнуло оружие, драчунов начали разнимать… Затем снова воцарилось спокойствие.

– Но самое страшное нам еще предстоит, – продолжал писатель, – новая волна жестокости, осмысление самых тупых и самых темных довоенных пятилеток…

Офицер взглянул на часы. Наступил час прощания.

– Вы меня по-королевски одарили, Борис Леонидович.

– Угощение-то ваше, Юра! – улыбаясь, бросила реплику Ольга.

– Вы меня совсем не знаете, а говорили со мной так откровенно, как с самым близким человеком. Если я что-либо в этом мире значу, я буду всеми силами желать вам счастья и исполнения всех ваших желаний.

Борис Леонидович протянул собеседнику руку.

– С Богом! Я буду помнить вас. Если вам повезет – непременно жду в гости.

Офицер ушел. Они остались вдвоем. Робко поглядывая на собеседника, Ольга стала рыться в недрах своей потрепанной сумочки.

– У вас сейчас странный взгляд. О чем вы думаете? –

полюбопытствовал Борис Леонидович.

– Я думаю… где же вы были раньше в моей жизни?

Такой вопрос заставляет задуматься, даже если он чисто риторический…

Ольга, наконец, решилась, выудила из сумочки свернутую трубочкой тетрадку и резко, как человек, который бросается с обрыва, протянула руку вперед.

Борис Леонидович взял трубочку, развернул, прочитал детским почерком выведенные на обложке слова:

ИСПОВЕДЬ МОЕЙ ЖИЗНИ

Мог бы снисходительно улыбнуться, но не сделал этого – стал очень внимательно читать…

Чужая исповедь, как музыка, начинаешь вспоминать свое…

Ему мерещилось путешествие трамваем из Ленинского санатория домой, соревнование в вагоне двух девушек, вечер, когда взрывали храм Христа Спасителя, страшные ночные блуждания в облаках пыли…

Вспомнился внезапно тот участник вечера, который повстречался ему на вечеринке и задал вопрос о Есенине, а потом еще раз проплыл в лунатическом оцепенении по набережной. Но на этот раз Борис Леонидович не пошел дальше своим путем, а обернулся на несчастного и последовал за ним, по дворам да подворотням, в сумрачную московскую квартирку, видел, как тот пишет записку, затягивает узел петли, видел перепуганную Ольгу на пороге комнаты… Уже после всего, что произошло, замелькали, как в дурном сне, лица каких-то молодых мужчин, привиделось путешествие в заснеженный, обмотанный колючей проволокой лагерь смерти, где тропы обозначались замерзшими трупами людей…

…Оторвавшись от тетради, завороженный Пастернак воскликнул:

– Замечательно!

Он посмотрел на Ольгу с новым блеском в глазах; влюбленность, конечно, оставалась, но добавилось знание, которое отражало не то, что было в исповеди сказано, а нечто иное, чего сама Ольга пока не умела обозначить.

– Замечательно! Поразительно! – увлеченно продолжал поэт. – Ты похожа на летящую стрелу. Вот ты сорвалась с туго натянутого лука и летишь. Цели ты не знаешь. Все, встречающееся на твоем пути, лишено для тебя определенного

смысла, все для тебя бесцельно и беспричинно. Имеются лишь поводы. Такая беспечность никак не объяснима. В тебе властвует некое мощное принуждение, отчаянная тревога измученной собою души. Ты меняешь обстоятельства, как больной меняет в жару подушки, ищешь прохлады, выздоровления… Но цель еще далека, и отсюда твой испуг и трепет. В общем, поздравляю: твоя душа – сестра душе Генриха фон Клейста!

Ольга сидела подавленная. Всего она ожидала: брезгливости, презрения, жалости, сострадания, но только не этого, непонятного. Это «в общем, поздравляю» было даже обиднее. И она не скрыла своей досады.

– И это все?!

– Я тебя чем-то огорчил?

– Я ожидала других слов.

– Я сам был причиной многих слез… по крайней мере, одной мировой войны… Какой же я тебе после этого судья?

– Ты все шутишь, – упрекнула Ольга.

– Ведь ты не произнесешь, что ждала прощения или какой-либо иной пошлости. Нет, причина в чем-то ином. Скажи, что тебе во мне не понравилось, когда я читал эту тетрадь. Только будь честной, как в этой своей исповеди!

– Мне не понравилось, как ты смотрел на меня. У тебя глаза стали, как будто глаза шпиона…

– Ну и ну! Потрясающе! Вообще-то, каждый поэт в своем роде шпион.

– Ты стал видеть во мне нечто такое, чего я сама о себе не знаю. Где-то я читала, что люди искусства – каннибалы, питаются всеми, кто попадается им на пути, в том числе и близкими им людьми… я понимаю, что для тебя я никогда не буду собой, а только тенью, переводной картинкой.

– Бог тебя накажет за такие слова, – тихо, как будто себе самому, произнес Борис Леонидович.

– Но я хочу, чтобы ты был счастлив, и чтобы твой ковчег поплыл над кукурузными полями, если так суждено.

Ольга шла в сторону дома… Мысли в голове прыгали и как будто боролись между собой, она даже не заметила, как оказалась возле подъезда. Дома ее ждали мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца, Ивана Васильевича Емельянова, смерть второго мужа, отца Мити, Александра Петровича Виноградова: он скончался в больнице, прямо у нее на руках…

Глава 7
Ожидание. Олеша

…А колесо встреч уже крутится, раскручивается все быстрее.

В тот вечер Ольга приходит на место свидания, за бронзовой спиной А. С. Пушкина, на четверть часа раньше. Остается несколько минут, чтобы посмотреться в зеркальце, подкрасить губы, привести себя в порядок.

Но на этот раз действие течет немного иначе. Едва она успевает распахнуть сумочку, ее зовут по имени…

Бритоголовый человек стоит в двух шагах и напряженно улыбается. Нищий, видимо, в руках – фетровая шляпа с медяками.

Ольга его не узнает: грязный, облезлый.

– Ольга!.. Не обознался? Ольга? Я – писатель Олеша. Вел ваш литературный кружок. Ты писала сносные стихи.

Ольга немного опешила. Но через несколько секунд вежливо ответила:

– У меня ваша книга – на полочке.

– Ну, ты только, ради Бога, милостыню не давай… я же не из-за денег нищенствую, – чуть заметная ирония проскользнула по его лицу.

Олеша наклоняется к ней и шепчет:

– Я от большевиков спасаюсь.

– Да кто ж вас тронет, Юрий Карлович?! – с недоумением спросила Ольга, – такие защитники, три ваших «толстяка»…

Могла ли Ольга предвидеть, какая судьба ожидала этого опального автора? Если не лагерь, то вынужденный запой.

– Ах ты, птичка небесная… да ведь и на тебя дело, небось, заведено. И на Борю нашего, с которым, вижу, каждый день на этом углу встречаетесь. Большевики Царя нашего, помазанника Божьего, не побоялись забить, как собаку, а мы им кто? Как вша над свечой треснем – и никто не услышит. А меня такого они не тронут, погнушаются. Помнишь такого поэта, Сашка Тиняков? Так он всем говорил: отстаньте от меня, заражу сифилисом. Вот так и я. Но у меня к тебе просьба. Видишь, там, за углом, того субъекта с газетой? По-моему, он за мной подслеживает.

Там действительно нелепо вертелся тип с газетой в руках, к тому же, держал ее названием вниз.

– Там? – спросила Ольга, указав взглядом в сторону.

– Да. Возьми меня под руку, прижмись ко мне и доведи меня вон до того угла.

Так она и сделала… А за углом, в людском потоке, Олеша как в воду канул.

Ольга улыбнулась и вернулась на свою аллейку, вынула зеркальце, стала прихорашиваться. Когда же в серебристом овале снова отразился тот же читатель газеты, она перепугалась: если он не стал гнаться за Олешей, значит, следит за ней?

Не торопясь, покачивая бедрами, как некогда в трамвае, она стала отступать в сторону людского потока. Возле рыбного остановилась и стала прикидывать: что же дальше?

Из-за стекол праздного легкового автомобиля на нее напряженно глазел молодой черноглазый шофер.

Она решилась, открыла дверцу и без расспросов села на переднее сидение.

Оказавшись дома, Ольга почувствовала отчаянную усталость, упала на диван и уставилась глазами в потолок. В ее голове крутились совсем нерадостные мысли: ей тридцать шесть, она сидит одна-одинешенька в квартире с нищенской мебелью, листает тетрадку с глупым названием «Исповедь моей жизни»; ничего не удалось, все спутано-перепутано, оплевано, впрочем, как и у всех.

Снизу стали стучать в радиаторы отопления. Так звали ее спуститься вниз.

Но не к телефону.

Когда Ольга распахнула дверь к соседям, то увидела в квартире пеструю свадебную толпу.

Соседка радостно воскликнула:

– Дочку выдаем. Как же, Люся, без тебя!

Почти все мужчины были в военном, а наряды женщин пестрели от переделок из старого, поношенного, но стол, вопреки суровым временам, ломился от изобилия. Глаза молодых сияли от счастья. Все, как полагается. И патефон откуда-то достали, как в лучшие мирные годы; он впрочем, был немецкий, со всех сторон изукрашенный надписями и фабричными марками.

– Из Кенигсберга! – объявил капитан.

Весь вечер играли довоенные танго. Соседка налила Ольге спиртное, обе выпили. Ольга прослезилась.

– Ну, чего ты? – удивленно спросила женщина.

– Это оттого, милая, что больше не буду в жизни с любимым танго танцевать, вот так, как эти, и фаты не надену, и детей больше не рожу.

– Бога побойся, с твоей-то красотой! Да, хочешь, вмиг того капитана сосватаю? Герой войны, на руках через всю Москву пронесет!

– Есть, соседушка, любимый, есть. Да только женат и через Москву не пронесет, а танго на пианино может и сыграет, да ведь не станцует… Налей, соседушка, еще! – в сердцах произнесла Ольга.

Глава 8
Рождение Лары

В поздний ночной час Ольга стала уходить к себе домой. Поднималась по лестнице с трудом, ступенька за ступенькой… И тут вздрогнула, испугалась, увидев перед дверью своей квартиры черную спину человека. Но потом человек повернулся к ней лицом, и она узнала Бориса Леонидовича.

А свадьба гуляла всю ночь.

Проснувшись поутру, она увидела в разбавленной ранними лучами темноте писателя, склоненного над письменным столом, что-то записывающего на листке бумаги. Потом в их жизни такие часы случались часто, и Ольга всегда приподнималась на локте, подпирала подбородок ладонью и, раскрыв рот, смотрела на Бориса Леонидовича.

– А ты все горишь и теплишься, свечечка моя яркая. На минуту сядь поближе рядышком – я расскажу тебе, какой сон видела.

Он отложил бумаги и присел поближе, но говорить стал сам.

– Когда я вчера убедился, что на свидание не придешь, меня охватило страшное предчувствие. Мы живем в век призрачных встреч и настоящих необратимых расставаний, и этого столько было в моей жизни. Ведь этот человек наблюдал или за тобой, или за мной, или за нами. Я готов к аресту, я – в постоянной готовности быть схваченным воображаю, какие мне будут предъявлены обвинения, знаю, что будет происходить нечто, что я боюсь вообразить… Мне кажется, что в миг ареста я буду испытывать даже что-то вроде облегчения, потому что моя свобода ненатуральна, противоестественна, необъяснима. Но если отсекут часть меня, а ты становишься моей частью…

– Нельзя давать такой воли тревожным мыслям. Я здесь, с тобой, впереди – день и вечер, ночь и опять утро, и так будет продолжаться многие годы…

– Если бы нам на какое-то время провалиться сквозь землю, забраться в одичалую подмосковную глушь. В такую зиму – это безумие из безумий. Но давай и безумствовать, сердце мое, если ничего, кроме безумства, нам не осталось.

Эта встреча и разговор должны были существовать, поскольку чувство коснулось сердца тридцатипятилетней женщины. У каждой к тому времени есть подруга, подобная той, чей номер Ольга набрала под конец рабочего дня.

Был уже, собственно, вечер, когда она вошла в сени бревенчатого дома, каких в Москве было полно, вплоть до конца шестидесятых: невообразимое скопление жильцов, скопление дешевой мебели начала века, ныне считающейся антикварной, скопление клопов.

Ольгу встретила нестарая, но совсем седая женщина южных кровей.

– Давно тебя не видела. Хорошеешь. Значит – влюблена? – прозвучал теплый голос южанки.

Ольга, скрыв улыбку, посмотрела куда-то в сторону. Казалось, в ее глазах уже сиял ответ. Она немного отрешенно произнесла:

– Когда же в последний раз? В начале войны, в бомбоубежище?..

И вдруг, моментально изменившись во взгляде, продолжила:

– Ты знаешь, Саша умер. У меня на руках. Сбылось-таки проклятие первого мужа.

Южанка покачала головой. Ничего не сказала.

– А маму я привезла из лагеря, не дала ей там умереть. Сейчас она у меня, увы, на нелегальном положении. Нужны бумаги.

– Хочешь, погадаю?

– Сегодня нет.

– Боишься?

– Чего уж мне бояться… Скажи вот что…

Ольга вынула из сумочки домашнюю фотографию – мужчина и женщина. Она закрыла карточкой половинку и показала подруге.

– Что ты скажешь об этой женщине? Это важно.

– Это твоя мама что ли? Нет?! Очень похожа. Ну что… Если она не замужняя, она тебе не конкурентка. Ну, а если… то это означает: она прекрасно соображает, в чем нуждается выбравший ее мужчина и не обманет его надежд, и все перетерпит. Я бы лично очень хотела бы ей понравиться. Это не так просто, но стоит. Ну, а тот, кого ты спрятала под бубновой восьмеркой, нуждается в защите, в прикрытии, и от такого щита, как она, отказываться не станет.

– Но он ее не любит. – Ольга снова испытующе посмотрела на женщину с фото.

– Но ведь и никогда не бросит, – уверенно ответила южанка.

Чтобы скрыть свое огорчение и досаду, Ольга высыпала на столик содержимое своей сумочки и стала укладывать обратно по порядку: зеркальце, расческа, помада да прочий женский хлам. Завернула в платочек и спрятала фотографию. Южанка

наблюдала за Ольгой со снисходительной улыбкой.

– Ты бы хоть его глаза мне показала.

– Фотография ничего не передает. Могу только сказать, что его глаза смотрят мимо человека, так что впечатление такое, что он общается не с тобой, а с кем-то на твоем месте.

– По отношению к тебе это в какой-то степени правильно.

– То есть, как?!

– В тебе постоянно присутствует нечто… Ну, в общем, ты – это не ты.

– Ничего не поняла, только, по-моему, это плохо.

– Наверное. Но мужчины, поскольку речь сейчас о них, это любят. Только я на твоем месте не стала бы так стремиться к замужеству. Оба твоих мужа кончили плохо. Ты нисколько не боишься за него?

– Ну, уж если кто в этой истории кончит плохо, так это я.

Выйдя от подруги, она попала в черно-белые сумерки, такие щемяще тоскливые, что требовался какой-то другой выход.

В центре еще попадались встречные. За углом, неподалеку от кинотеатра «Метрополь», она увидела нищего и в приступе жалости высыпала ему из муфты в помятую фетровую шляпу всю свою наличную медь.

Ах, несчастный Юрий Карлович! Он по-прежнему пил, но уже не шутил и не играл. Он уже стал нищим.

Попалась по дороге и церквушка (случайно ли?), одна из разгромленной тысячи. Двери бывшего храма были широко распахнуты, из него на заснеженную твердь тротуара липко струился грязно-желтый электрический свет. В церквушке располагался склад, и в него вчерашние фронтовики в залатанных шинелях катили огромные бочки с вином или же с иной жидкостью.

Ольга вошла внутрь храма.

Да, конечно, там была грязь, обрывки бумаги, стеллажи с дощатой тарой, мерзость запустения по углам, но это пространство еще жило церковью. Ольга подняла глаза на остаток фрески, часть священного лика и, едва шевеля губами, чтобы работающие на разгрузке парни не вздумали над ней посмеяться, торопливо зашептала:

– Отче наш… – Ольга постаралась вспомнить, потом продолжила. – Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя… Смилуйся, Боже, верни мне чистоту взгляда и помыслов, сделай достойной моего избранника… И чтобы мы во веки с ним были неразлучны, и чтобы я была для него радостью и опорой, и чтобы удался его труд, и он был всех счастливее… Яко Твое есть Царствие и сила и слава во веки.

Аминь.

Эта молитва все же не осталась незамеченной. К Ольге приблизился парень со шрамом на щеке.

– Вон у нас тут настоящие святые лики.

Он повернул выключатель, осветив промежуток между стеллажами. Там находилась фреска, изображающая Пресвятую Деву с младенцем. Фреска сохранилась неплохо, вот только шутник-электромонтер, подвел провода к лицу Иисуса Христа, и лампу разместил как раз в области переносицы.

Страшное получилось зрелище. Ольга впоследствии не раз его вспоминала.

Они в эти месяцы жили в хижине в получасе ходьбы от платформы электрической железной дороги.

Они вышли из дома и попали в снежную бурю. Ветер взметал вверх к поднебесью серые тучи вертящихся снежинок, которые белым вихрем возвращались на землю, улетали в глубину темной дороги и устилали ее белой пеленою. Шли рядом, молчали, и было хорошо, как никогда.

Был час ночи, когда они вернулись в свое загородное укрытие.

Их окружила блаженная, полная счастья, сладко дышащая жизнью тишина. Свет лампы спокойной желтизной падал на белые листы бумаги и золотистым бликом плавал на поверхности чернил и вокруг чернильницы. За окном голубела зимняя морозная ночь. И роскошь ее была непередаваема.

В его душе воцарился мир. Писатель сел за стол, разложил бумаги, положил перед собой белый непочатый лист, обмакнул перо и медленно вывел: «Лара».

А потом стал писать разгонистым почерком, передавая живое движение руки, чтобы задуманный текст не терял своего лица, обездушиваясь и немея.

– И еще, и еще раз. Прости меня за прорывающееся в моих словах смятение. Но ведь у нас действительно нет выбора. Называй ее, как хочешь, гибель действительно стучится в наши двери. Только считанные дни в нашем распоряжении. Воспользуемся же ими по-своему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что нам было дорого, с нашими привычными понятиями, с тем, как мы мечтали жить, и чему нас учила совесть, простимся с надеждами, простимся друг с другом. Скажем еще раз друг другу наши ночные и тайные слова, великие и тихие. Ты недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный запретный мой ангел, под небом войн и восстаний…

Когда же он прочитал это место книги Ольге, она расплакалась.

– Вот мы с тобой в глушь забились, где нас никто не найдет, и я тут, с тобой, еще живая, а ты уже со мной распрощался. И как распрощался! Как будто меня на самом деле больше не существует.

– Это же только страницы книги, – успокоил Борис Леонидович.

– Но написаны-то сердцем, а значит – как бы и произошло.

– Да, может быть. Прежде чем что-либо случается, оно происходит сначала в нашем сердце. Значит, мы сами все вершим? Послушай, у меня появилось желание объяснить тебе мой страх лишиться тебя. Дело в том, что когда-то очень давно мы с тобой встречались, и я тогда тебя потерял.

Воспоминание касалось того самого рокового вечера, когда они с Гришей Левиным вызвали возникновение Первой мировой войны.

Скрябин еще играл, когда Лара, прошептав что-то на ухо матери, попятилась назад и скрылась за плюшевой занавеской двери.

Для Бориса Леонидовича это был первый и единственный случай, когда музыка его кумира показалась длинноватой. Но он не мог себе позволить отлучиться до конца игры. Он лишь мог наблюдать, слегка повернувшись к окну, как Лара в сумеречно белеющем платье удаляется по дубовой аллее.

Скрябин извлек из рояля последний аккорд и тут же встал. В тот же момент Борис Леонидович юркнул в плюшевый проем двери, сбежал по лестнице во двор и со всех ног пустился по дубовой аллее.

Точно жар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал все его существо, парой крыльев выходил из-под лопаток наружу.

Из дома снова доносилась музыка, но он, оглядываясь по сторонам, поспешно двигался к обрыву.

Очутившись над краем его, он еще видел погружающийся в далекие леса багрово-золотой диск.

Музыка осталась далеко позади и скорее подразумевалась, чем слушалась.

Зато вторглось в слух обыденное, злободневное.

Крики доносились снизу, с реки. Течение в этом месте, широко разливаясь, становилось вихрастым, изобиловало многими углублениями дна.

Тонула девушка или женщина. Когда она выплывала на поверхность, то ярко сверкали ее белые обнаженные плечи, а

потом снова погружались в черно-рыжую воду, и на рябом глянце реки оставались только светлые расплетенные волосы.

Поначалу такие события смотрятся как безотносительные, происходящие вообще, лишь потом Борис Леонидович осознал, что крики адресованы ему.

Он даже повременил, чтобы убедиться в этом. Сомневаться не приходилось.

Отсюда сверху было видна лодка, которую двое мужчин снаряжали, чтобы спустить с берега на воду, но было ясно, что они к утопающей не подоспеют.

Борис Леонидович принялся было раздеваться, но в тот же момент опознал в утопающей Лару. Юноша инстинктивно смутился, снова застегнул пуговицы… Если у него и был шанс ей помочь, то в этом промедлении он был окончательно упущен.

К тому же он еще понял, что проблема состоит в том, как отсюда выйти к берегу. Не было тропы, которая бы вела вниз. Если же спускаться в другом месте, вообще потеряешь девушку из виду.

Выныривая из реки, она вдыхала все короче.

Для юноши оставался лишь прыжок вниз. Без промедления. Высота в этом месте была около восьми метров, внизу – груда угловатых камней. У воды в лунном свете виднелась небольшая полоска песка. Он ре-шил не раздеваться. И это его погубило. Белоснежная ткань сорочки залепилась за какую-то невидимую в сумерках веточку, и это слегка исказило траекторию полета.

Когда он приземлился и попытался быстро встать, то тут же рухнул на песок и от боли потерял сознание.

Оно вернулось к нему уже в кровати. Юноша увидел волосы склонившейся над ним матери, растерянного отца, перепуганного друга Гришу, доктора Левина, что-то шепчущего отцу, загипсованную свою ногу, созвездия за окном.

Потом они ехали на таксомоторе по Москве, и неподалеку от того места, где обычно встречались, у Страстного, дорогу им перегородила толпа.

Это была траурная процессия. Пастернак вышел из машины.

– Что это? – удивилась Ольга.

– Михоэлса хоронят. А вообще – нас всех, – вдруг ответил Борис Леонидович, – немногие выживут, но с живых много спросится.

На крыше дома рядом с домом «Известий» стоял человечек со скрипкой и играл что-то едва слышимое.

– Ты мне так и не объяснил, куда же мы едем?

– Только ты меня не осуждай. У меня возникла прекрасная

мысль, правда, может быть, она мне только одному кажется прекрасной? Поедем к одной моей знакомой пианистке. Она будет играть на рояле, а я ей обещал прочитать то, что я написал за эту зиму-осень. Ты там узнаешь страницу, которую в эту книгу вписала.

Потом была большая сумрачная квартира, хозяйка играла Шопена… почему-то именно похоронный марш, подобающий черноте дня. Было гостей человек шесть, и все – по углам, и Ольга, которую усадили почему-то посредине комнаты на венском шатком стуле. Борис Леонидович, как будто позабыв о ней, копошился со страницами, которые предстояло прочитать.

Музыка затихла. Писатель встал. Листы бумаги в его руках слегка дрожали.

Глава 9
Арест

– Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали: «Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». – Борис Леонидович продолжал негромко читать. – «Вот оно что. Тогда понятно». – «Да не его. Ее». – «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Ольга встала и тихо улизнула в прихожую.

Тут уж оставалось стащить свою собственную беличью шубу и выпорхнуть на улицу.

Ей было плохо. Она прислонилась к стене подъезда и стала растирать ладонью лицо.

По улице уже начинала летать поземка, ногам было очень холодно. К счастью, вскоре Ольгу нагнала машина, по-видимому, из немецких трофейных: опередила, остановилась и стала ее дожидаться. Она же, глупая, сломя голову бросилась к ней. Чтобы впустить Ольгу в двухдверную машину, один из ее пассажиров вывалился в сугроб, а водитель, наклонив переднюю спинку кресла, пропустил женщину на заднее сидение.

– Не в сторону Мясницкой, случайно? – обратилась она.

– Так мы туда же! – раздалось из машины.

Ольга откинулась на кожаную спинку сидения, прислонилась носом к холодному стеклу и отрешенно любовалась красотой ночной заснеженной Москвы.

Возле Главного Почтамта она очнулась.

– Остановитесь, пожалуйста, здесь.

Но спутники не отзывались и мчались дальше. И здесь она почувствовала себя в мышеловке.

Машина вскоре свернула направо, на Лубянку, перед черными, окованными железом воротами посигналила. Врата разверзлись, пропустили внутрь. Они оказались в темном дворе…

Дальше последовала комната без окон с очень яркой лампой… Хриплый голос дежурного.

– Фамилия, имя, отчество.

– Вежливые люди представляются первыми.

– Я тебе представлюсь, фашистская шлюха, – последовал грубый ответ.

– Фамилия, имя, отчество.

– Ивинская.

Он нажал на кнопку звонка, и почти тут же в помещении возникли еще двое. Жилистая усатая женщина ощупала волосы Ольги, заглянула в уши, горло, нос.

– Снимай штаны и ложись.

Отработанным движением она распластала Ольгу на широкой дощатой лавке, как цыпленка табака на сковороде.

Тогда из тени выступил старенький очкастый еврей, отстегнул портфель, выудил из его недр вагиноскоп и приступил к исследованию женской части. Что-то его там, внутри, заинтересовало, сверкнуло еще одно приспособление…

С сочувствием, сдобренным уместной в этом случае вселенской еврейской печалью, врач заглянул Ольге в глаза.

Дальше следовала небольшая камера. Кровать, стул, никогда не гаснущий свет под потолком и почему-то паркет. Обычная комната.

Но как только она легла и закрыла глаза, чтобы попытаться заснуть, начались сюрпризы.

За стеной послышались душераздирающие крики. Было очевидно, что за стеной кого-то пытают. Вопли были такими пронзительными и в то же время утробными, что, когда они утихли, Ольге показалось: страдалец попросту умер. Но вскоре звериные рыки возобновились, и так продолжалось до утра.

Так что утром, когда вошла надзирательница и вызвала ее к следователю, позади Ольги оставалась бессонная ночь.

В кабинете следователя тот же паркет…

– Мы пригласили вас сюда для небольшой формальности, – обратился к Ольге следователь Семенов, – вам предстоит подписать эти показания, и вы свободны.

Ольга посмотрела на чисто отпечатанную страницу.

– Не стану я этого подписывать. Тут написано, что Борис Пастернак является английским шпионом и уговаривал меня улететь с ним в дипломатическом багаже одного из послов. Это неправда. И вообще, зачем вы мне ночью радиопостановки устраивали, там ведь не живой человек кричал, а запись шла! Да еще по кругу…

– Перестаньте кликушествовать. Не хотите – не подписывайтесь. Мы никого не заставляем. Только я думаю, откуда у вас столько злобы к Советской власти? Этого вашего Бориса я частично понимаю: огрызок царского режима, беснуется в бессильной злобе, ведь так? Ведь так?.. Копит яд, готовится мстить нам своими писаниями, сами же участвовали в публичной их читке? И если хотите знать, не вы, а он должен сидеть на

вашем стуле! Таково мое личное мнение. Вы же, Ольга, вы плоть от плоти наша, комсомолка! Сам…

Семенов позабыл нужную фамилию, долго силился вспомнить. Раздосадованный, выдвинул ящик письменного стола и вытащил оттуда тетрадку. Это была та самая «Исповедь моей жизни», которую Ольга некогда приносила читать Борису Леонидовичу и потом так небрежно швырнула у себя дома на подоконник.

– …сам Буденный, сам сын Иосифа Виссарионовича аплодировали вам и вашим стихам. Подумать только, как хорошо вы начинали, сколь многого могли добиться.

– Но, ведь, еще не поздно?

– Я рад, что вы приняли правильное решение.

И он снова придвинул ей лист для подписи. Ольга взглянула на донос, как на дохлую крысу.

– Раз уж вы читаете чужие дневники, могли бы вычитать, что в комсомол я не записывалась.

– Ну, вас туда бы и не приняли, как дочь белого офицера, а если бы по ошибке приняли, то тут же и вышвырнули, как члена семьи врага народа.

– Это моя мама-то враг народа?

– Была же она осуждена за распространение анекдотов о товарище Сталине?

Ольга искренне рассмеялась.

– Какой-то странный у нас с вами выходит разговор. Все вы понимаете, обо всем догадываетесь, только не принимаете во внимание, что чудес в жизни не бывает, и вы просто так отсюда не выберетесь. Посмотрите на себя в зеркало: кто вы, собственно, такая, кто за вас станет хлопотать? Никто.

– Ну, мы это… еще посмотрим.

Так, волею чувств и обстоятельств Борис Леонидович оказался в кабинете человека, к которому его некогда влекло, как влечет к силе, ведающей тайные стези успеха и окончательного мирового порядка. Может быть, и Ольгины злоключения были задуманы для того, чтобы произошла эта встреча? Так или иначе, после нее многое должно было проясниться.

Они встретились в огромном кабинете Фадеева. И приближались друг к другу по ковровой дорожке, шаг за шагом, словно дуэлянты.

Фадеев оставался таким же, каким мы его видели в довоенные годы: та же сила, та же стать, тот же прямой и строгий взгляд… Он распростер объятия и потрепал Пастернака ладонями по спине:

– Легок на помине! Не далее, как позавчера, вспоминали тебя в «Арагви». Мне потом друзья рассказывали, что я напился и до полуночи читал на весь зал твои стихи. Представляешь! А это сейчас, оказывается, опасно! Вот дела!

Борис Леонидович смущается, пятится назад, бормочет невнятное… Фадеев щадит его и поспешно завершает дружескую часть встречи. Он садится за председательский стол, где у него все разложено в строжайшей симметрии, выдергивает из-под чернильницы листочек, бегло его просматривает, принимает какое-то решение и начинает беседу.

– Я знаю ваше дело, вашу просьбу. Ваше обращение, в принципе, не по адресу: Союз писателей не вмешивается в работу органов, даже если бы и захотел, то… Хотя… Ну, все зависит, в общем, от вас. И я даже рад этому происшествию с вашей знакомой, потому что таким образом представилась редчайшая возможность заставить вас выйти из вашей башни слоновой кости, ступить на нашу грешную землю, возможность нам поговорить с вами.

– О чем бы вы хотели поговорить со мной? – спросил Борис Леонидович нетерпеливо.

– Ну, конечно, не о жизни и смерти, а о вас.

– Я обращаюсь в Союз с просьбой помочь женщине, важной для меня и близкой, она находится под следствием, а между тем, она в положении, и это мой ребенок, а вы затеваете разговоры обо мне!

– Все в мире взаимосвязано.

Пока Фадеев говорит, Борис Леонидович с любопытством рассматривает его. Лицо Фадеева содержит какую-то страшную, тяготившую его тайну. И когда много лет спустя Пастернак забежит на минуту в ресторанный зал Дома писателей, где по традиции происходили гражданские панихиды, и где будет возвышаться гроб с телом только что застрелившегося Фадеева, он с тем же любопытством заглянет тому в лицо, чтобы в последний раз попытаться разгадать эту тайну.

– Я знаю, о чем бы вы хотели сейчас со мной поговорить. Об этом чирикают все воробьи и каркают все вороны. Мне вменяют в вину даже то, что Шведская академия выдвинула меня на соискание Нобелевской премии.

– Но вас это выдвижение радует?

– Жутко произносить – нет! Какое жалкое, нереальное существование я влачу, что должен так все это воспринимать! Ведь присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, произнесение речи, а я уже не гожусь в заводные куклы. Я не

способен более на поступки и слова, в которых не был бы невыносим и ненавистен себе и готов умереть со стыда.

– А я продолжаю в вас верить, несмотря ни на что! Я все помню вас в ту бомбежку, когда вы гасили на крыше дома фашистские фугаски. Что же изменилось в мире с тех пор, как в вас произошла такая перемена? Я не верю в нее. Вы просто устали, и не вы один устали. Но оглянитесь: только что кончилась самая страшная война в истории человечества, страна – в развалинах, в полях – трупы солдат, они даже не рассортированы: немцы и наши лежат друг на друге. И вот в это время рабочие восстанавливают фабрики, крестьяне пашут и сеют, сама жизнь начинает возрождаться из пепла! Еще один виток пути, и перед нами засверкает светлое будущее, о котором и вы, надеюсь, когда-то мечтали!

– Вы не хотите помочь неродившемуся ребенку, а говорите о светлом будущем. Для кого? Кем надо быть, чтобы с таким неостывающим горячечным жаром бредить из года в год на несуществующие, давно прекращенные темы, и ничего не знать, ничего кругом не видеть! – с негодованием выпалил Борис Леонидович.

Глава 10
Лубянка

Давно настала зима, пришел и заканчивался самый короткий день года. Солнце туго и медленно, как во в сне, растекалось лучами густого, медового света. Лучи стыли в воздухе, словно примерзая к деревьям, стенам и крышам Москвы.

Он стоял у окна своей квартиры на высоком этаже писательского дома, напротив здания Третьяковской галереи. Детство напоминало о себе эпизодом распаковки привезенных картин. Та же была зима, те же солнечные блики, да и музейные служащие во все времена одинаковы; другими были картины: огромными, торжествующими, многолюдными. Поодиночке позволялось «являться» только вождям.

Проплыла картина «М. Горький читает поэму “Девушка и смерть”». Там за круглым столом под зеленым абажуром сидели вожди и слушали.

Такой же круглый столик и зеленый, еще не зажженный, абажур был и тут. А еще – елка, которая преображалась, по мере того, как из недр запыленного сундучка времен русско-японской войны Зинаида Николаевна выуживала елочные украшения… Игрушки покачивались на ветвях, отражая закат.

Накрывался стол, и по тому, что появлялось на нем, было видно, что живут здесь не бедно. Впрочем, было и не так богато, как на изобильных колхозных застольях с тех картин соцреализма, что распаковывались во дворе Третьяковки.

Они были вдвоем в пустой темной квартире. Погода с наступлением сумерек внезапно испортилась. За окном пошел снег. Ветер сносил его вбок, все быстрее и все круче, как будто пытаясь что-то наверстать. Зинаида Николаевна подошла к окну и встала рядом с мужем.

– Все горе в том, что я люблю тебя, а ты меня не любишь. Я стараюсь найти смысл этого осуждения, истолковать оправдать, роюсь, копаюсь в себе, перебираю всю нашу жизнь и все, что я о себе знаю, и не вижу начала, не могу вспомнить, что я сделала, чем навлекла на себя это несчастье. Если бы ты знал, какое унизительное, уничтожающее наказание – нелюбовь!

– Не повторяй слишком часто это слово. Это полуправда, а значит – неправда. У нас с тобой – настоящее. Мне и в голову не приходило раскалывать наш дом. И есть в жизни вещи выше любви или нелюбви, есть обязанности. И мы обязаны взять и

приютить, пока эта женщина в тюрьме, моего ребенка. Я тебе это говорю потому, что знаю, что и ты не поступила бы иначе.

Снова кабинет следователя Семенова…

Борис Леонидович впервые в этом здании, все ему здесь интересно, даже стул, на котором сидит, внушает ему определенный интерес, и следователь это замечает.

– Стараюсь вообразить, какие люди прошли через эту комнату, какие речи тут звучали.

– А вы почаще, Борис Леонидович, к нам заходите, многое узнаете. Могу вам по секрету сказать, что как раз под нами находится камера фельдмаршала Паулюса. Вы о нем, без сомнения, слыхали… Да. Мы вас вызвали на основании вашего заявления. Я имею указание вернуть касающиеся вас материалы по расследуемому нами известному делу. Вот они. Распишитесь, пожалуйста, в получении.

Семенов выдвинул ящик письменного стола и выложил на стекло несколько книжечек и аккуратно перевязанные веревочкой письма.

– И это все?!

– Это подаренные и написанные вашей рукой стихотворные сборники. А это ваши письма к гражданке Ивинской. Они нам не нужны более.

– А ребенок?

– Какой еще ребенок?

– В моем заявлении выражена просьба отдать под мое попечение рожденного в тюрьме моего ребенка.

– Но это просто недоразумение. Гражданка Ивинская никакого ребенка не рожала.

– Значит, роды были преждевременными?

– На чем основано это ваше убеждение о ребенке? Если не хотите, можете не отвечать.

– Да нет, я скажу. Оно основано на полученном мною через одного человека письме самой Ольги Ивинской.

– Я беседую с Ольгой Ивинской каждый день, и ни о чем таком нет и речи.

– Я не верю. Вы должны устроить нам очную ставку.

– Мы ничего не должны ни вам, ни кому-либо еще. И зря вы, Борис Леонидович, в это дело впутываетесь. Поблагодарили бы нас, что предоставили вам возможность спокойно работать. И распишитесь, пожалуйста, в получении книг и писем.

А Ольгу ее сказочные лагерные тропы завели в каморку наподобие могилки, несколько, правда, пошире, но зато и короче;

так что, ни сесть, ни тем более лечь, было невозможно. А еще и пол оказался загаженным.

Едва защелкнулась очень плотная дверца, сверху полилась ледяная вода, еще более морозная, чем эта ночь. Сток внизу был узким, и часть льющейся воды оставалась в кабине. Вода понемногу поднималась все выше, сначала этот страшный холод почувствовали колени… И вот вода закрыла грудь и уже подобралась к плечам. Накликал Борис Леонидович потоп, для Ольги он оказался вот таким.

А когда вода коснулась ее губ, и женщина уже смирилась со смертью, извержение внезапно прекратилось. Сток в нижнем углу кабины, наверное, расширился, и вот наконец-то все море этой воды с грохотом и рывком поглотили подземные трубы.

Дверца гидротехнической камеры раздвинулась, и в проеме неожиданно возникла фигура следователя Семенова.

– Жалуемся, не подписываемся…

Хотела ли Ольга в ту минуту продолжать жить? Если бы хотела, то подписала… Но не хотела.

Фигура исчезла… Не исключено, что она померещилась. Истерзанная женщина погрузилась в полусон– полуявь.

И… то ярко вспыхивало воспоминание о фреске в полуразрушенной церквушке, куда она забрела в тоске и увидела две электрические лампочки, в поругание святых ликов подведенные к глазам младенца в руках Богоматери. То виделась глубокая черная яма, из которой она не в силах выкарабкаться. Она валится куда-то вглубь и долго так лежит, и у нее не осталось сил, чтобы даже пошевельнуться. Все накрылось мраком.

И здесь Ольга ощутила в темноте чье-то присутствие, и ей долго пришлось напрягаться, пока сердцем не почувствовала, кто находится рядом.

– Я чувствую тебя. Это ты? Отзовись. Зажги свет.

– Побудем в темноте немного.

– Боишься увидеть меня уже постаревшей?

– Я теперь не способен бояться.

– Что у тебя еще отняли?

– Еще?.. Я сейчас очень болен, Олюша. У меня был разрыв сердца.

– Но Господь все-таки дал тебе еще время…

– Да. Хотя за мою жизнь некоторые опасались. Но у меня нет иного выхода, как ее продолжить…

– Да… Твой ковчег… Ну, и слава Богу. Я тебя начинаю видеть.

– И я тебя. Ты сейчас еще красивее, чем прежде.

– Это тебе просто так хочется думать.

– Пусть даже и хочется, что же в этом зазорного?
– Меня заставляли подписать заявление, что ты шпион.
– Да, я шпион неизвестной мне родины.
– А меня из-за этой родины чуть не утопили.
– Успокойся, Олюша. Я знаю, что произошло… Ты держись.

Глава 11
Лагерь

И вот – лагерь. Но до этого – поезд, совсем не такой, каким она путешествовала в Сухобезводное за матерью. Тот вагон был согрет присутствием молодых солдат, с их светлой тоской по дому, с человеческим их единением со всем миром и в обреченности, и в надежде выжить.

В вагоне Ольга представила себя грешницей на пути в ад, в нескончаемой черной трубе, наполненной стонущими ворочающимися телами бесполых существ, скрежетом металла на полустанках, лаем невидимых собак.

Как только еле ощущаемое движение поезда прекращалось, какая-то из спутниц Ольги тут же начинала протяжно и заупокойно петь старый романс «Шелковый шнурок», написанный в ранние годы нэпа, и с той поры, казалось, давно позабытый. Повествовала эта баллада о загадке женской души, а, следовательно, всего происходящего.

Когда же поезд, кряхтя, снова пускался в путь, и певунья умолкала, Ольга погружалась в воспоминания иного голоса и, случалось, слышала его вполне явственно:

– Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная. Больше я тебя не увижу никогда, никогда в жизни. Больше никогда не увижу тебя.

А из темноты вагона к ней сползались ее незнакомые спутницы.

– Ну, Ольга, рассказывай дальше, как там в этом романе было?

– А на чем я в прошлый раз кончила?

– Ну, как этот Артаньян заколол…ну…этого…

– А… и на следующее утро направился к Констанции. Он застал ее в слезах…

Ольгу слушали, затаив дыхание, как никогда не слушали ни одного, даже самого великого, поэта.

Лотьминский лагерь был комком живых людей, слипшихся страстей, тоски, безвыходности.

Но об этом она узнала позже. А пока начальник зоны взглядом выщепил ее из толпы новоприбывших женщин, обратился к начальнику конвоя.

– А вы кто? – указал на нее начальник.

– Ивинская Ольга Всеволодовна, – ответил за нее начальник

конвоя.

– Ее дело при тебе?

Он получил в руки скоросшиватель, раскрыл и стал листать страницы, одну за другой…

А тем временем государственных преступниц погнали в баню.

Баня после темных и тесных вагонов показалась просторной и светлой, несмотря на густой пар и множество скользко-блестящих тел. Ольга привезла с собой кусок мыла, но он тут же пропал. Некоторые женщины осматривали ее с нескрываемым любопытством, а одна из них, хрупкая и, как потом выяснилось, розовощекая, попросила Ольгу намылить и потереть ей спину.

В предбаннике Ольга впервые за долгие месяцы улыбнулась. Тут, как и повсюду в стране, по учреждениям да углам, висел порядком выцветший фотопортрет Генералиссимуса. Спокойно и величаво вождь глядел на голую стайку своих подданных.

Одна из них, большая и толстоногая, расслабившись от горячего пара, вдруг топнула, шлепнула себя по бокам и запела:

Как, девчата, я б хотела
Встретить нашего вождя!
За его святое дело…

Далее пошли уже строчки неприличные. Кто-то пустился в пляс… Но тут вошел начальник зоны, брезгливо всех осмотрел и крикнул:

– В КВЧ! На лекцию!

Выйдя на улицу, Ольга увидела странную процессию, приближающуюся к бане: неопределенного возраста женщины в серых, льняных одеждах несли на руках женщину, закутанную в белое.

– Это наши монашенки. Это они свою Богородицу купать несут, – полушепотом произнесла одна из лагерниц.

– А что же, она не ходит?

– Так надо.

Пришла лагерная ночь, первая из полутора тысяч. Позже всех легли монашенки, долго молившиеся у изголовья своей Богородицы. Стало тихо. Послышался шум в соседнем бараке, но и он скоро угас.

Ольге показалось, что все спят. Настал час собраться с мыслями, понять, что же с ней произошло, подытожить, настроиться, сообразить, на что надеяться в будущем, рассчитывать ли вообще на что-то. Она лежала на спине и с открытыми глазами, как вдруг к ней с верхних нар свесилось лицо хрупкой розовощекой.

– Залазь ко мне? – резво предложила та.

– Зачем? – грубо ответила Ольга.

– Ну, тогда я к тебе спущусь!

– Отстань.

– Ладно. Не хочешь ко мне, достанешься начальству.

Пришло и первое лагерное утро. Серый барак, сонные лагерницы со свинцовыми глазами, мутные небеса в заклеенном на зиму окошке.

Какие-то стенгазеты и объявления, написанные лиловыми чернилами, построение перед бараками, растасовка по нарядам… Все это почему-то напомнило Ольге вольную жизнь и не показалось таким уж страшным.

Ее назначили в бригаду могильщиков. Сначала приходилось из дощатого сарая везти к кладбищенской зоне окоченевшие трупы, а потом, дружно взявшись за ломы, выдалбливать из мерзлой земли ямы для покойников.

Физический труд был Ольге непривычен, тем более такой – мужской. В начале дня она торопилась, старалась выказать свою стойкость, а часа через три потеряла сознание. Хрупкая розовощекая подсуетилась и быстро оживила Ольгу вонью из какой-то черной бутылочки.

– Давай, работай, у нас не принято валяться.

Когда рабочие часы истекли, Ольга с трудом держалась на ногах. Когда на следующее утро ее назначили в тот же наряд, и все началось сначала, сил у нее уже не оставалось.

Тем не менее, она поднимала тяжкий лом и с ненавистью опускала на землю. Так и пошло…

Не хоронили, а закапывали в землю, а если еще точнее – засыпали комьями «мерзляшек».

Только раз пришли украинки, помогли выкопать яму поглубже да помолились сообща над могилой, прочитали какие-то украинские стихи.

– Это наша знаменитая поэтесса, – объявила одна из них.

Когда уже настала зима, и мертвых решили оставить до весны замерзшими, хоронить перестали.

А начальник после очередного наряда, постучав в окошко своего домика, подозвал розовощекую к себе.

– Ну, как там наша Золушка?

– Белоручка. Тянет, конечно, лямку, но кое-как, так, чтобы не замараться.

– А в бараке?

– Все романы рассказывает. Про трех мушкетеров. Сейчас, вот, про какого-то старика, который в молодую влюбился и

продал черту душу.

– … чтоб не замараться, говоришь?

Следующий наряд выдали на картофельный склад. От резкого запаха гнилых овощей Ольгу тут же вырвало. Сидящая на лавочке лагерница Карсавина взяла ее за плечи и стала успокаивать:

– Привыкнешь. Я в первый раз сюда вошла – лишилась чувств, а сейчас притерпелась, и мне здесь хорошо. И потом, знаешь, что я обнаружила? Некоторые места в гнилом картофеле пахнут совсем как знаменитые марки парижских духов. Вот, понюхай… Это очень близко к духам «Коти». А вот эта куча напоминает мне «Ноктюрн».

– Вы были в Париже?

– Где мы с семьей только не были! Но, знаешь, в конце концов ведь и такая жизнь – Божий дар, и не надо ее слишком ругать. Мне кажется, ты сама это понимаешь. Ты это хорошо придумала с рассказами из Дюма. Если вспомнишь для них еще «Десять лет спустя» и «Двадцать лет спустя», то и сроку подойдет конец. Сколько у тебя?

– Пять лет.

– Ба, это детский! Давай знакомиться: Ирина Карсавина. Может быть, ты слышала о моем отце, философе?

– Нет.

– Ну, ничего. Я тебе о нем расскажу.

– А я вам расскажу о Пастернаке.

– Да, есть такой поэт. Я, правда, мало знакома с его поэзией. Ты его любишь?

– Да… Не знаю… Ну, это такой узел…

– Так, значит, это его письма каждую неделю забрасывают в нужник?

Давно настала зима, пришли морозы. Дни сократились, и в четыре уже темнело. Вдруг поднимался ветер, земля устилалась белой пеленою, словно белым саваном, и было трудно, просто невозможно вообразить, что где-то на земле может быть иначе. В одну из таких нескончаемых ночей Ольгу вдруг разбудил стук в окно.

Она была уже опытной лагерницей, и если не весь лагерь, то, по крайней мере, свой барак осознавала, как квартиру, в которой проживает, поэтому уверенно покинула нары, подошла к окну и прижалась лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни тропы, ни ограждений, ни вышек. С неба, оборот за оборотом, бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга

была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

И тут женщину охватило желание что-то предпринять.

Она поспешно оделась в теплое, замоталась в шали и, совсем не заботясь о том, заметил ли кто ее внезапное пробуждение, выскользнула в эту вселенскую круговерть.

Пошла наугад. Вскоре показался огонек в окошке конторы начальника зоны.

Начальник, все знали, по ночам глушил. Эта ночь не была исключением. На конторке искрилась наполовину отпитая бутыль и благоухала засека из украинских посылок. Начальник не удивился приходу Ольги, словно так и должно было быть. Но и особой радости не возникло, скорее, смущение.

Достал второй стакан, подул в него, наполнил…

– Здравствуй, Золушка, хорошо, что пришла. А то я вот тут один с гитарой маюсь, песни сочиняю, ничего не выходит. Ты, говорят, красивые всякие истории рассказываешь, может, сочинишь какой-нибудь жестокий романс – я на гитару переложу, будут ее петь по всем лагерям, и люди когда-нибудь меня добрым словом вспомянут. И тебя.

– Ну, вас и так хорошим словом вспоминают.

– Тоже верно. Вот еще одну песню написал. Про ночь, как эта.

Он запел, и слова, раздавшиеся в этой затерянной в круговерти вселенской вьюги избушке, произвели на Ольгу впечатление раздавшегося рядом выстрела.

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Ольга закрыла глаза и вспомнила, как они с Борисом Леонидовичем в рождественскую метель блуждали среди сугробов в лунном, снежном бездорожье, потерявшиеся на пути к пианистке Марии Юдиной, и как они увидели среди домов мигающий огонь канделябра в виде свечи. Это оказалось окно, где их ждали. Там родилось это стихотворение.

– Слова-то откуда достали?

– Да так, в одной книжке нашел.

На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.

– Но ведь этих стихов нет ни в одной книге! – настаивала Ольга.

– Ты-то откуда знаешь?

– Знаю. Мне их сам автор читал. Это стихи из книги, которая еще и не написана, не то что напечатана.

– Да брось врать! Это твоей матери стихи. Я же всю почту обязан перечитывать и видел. Там всякие приветствия, потом эти стихи и подпись: «Твоя мама». Ну, я стихи себе переписал. Ложатся на музыку.

– Но я же не получила ни одного письма: ни от мамы, ни от кого!

– Ну, это ваши лагерные дела. Я все, как полагается, передал в зону. И не забывай, мы два очень маленьких винтика… правда, каждый в своем механизме.

– Много было писем? – уставившись в стену, спросила она.

– А вообще-то, зачем ты ко мне сюда ночью пришла?

– Не знаю, – тихо произнесла Ольга.

– Врешь. Знаю, чтобы переписку наладить, да наряд полегче! Продаваться пришла, тварь! А я как на вас насмотрюсь в бане, так во..! Пошла вон!

Странный человек – смесь хрестоматийной меланхолии с порывами необузданного бешенства. Но впоследствии Ольге попадались и похуже.

Орал он страшно, но порядок-таки навел, только вот чем для Ольги это обернулось. Во время одного из утренних разводов, дня через три, та самая, хрупкая розовощекая, вдруг выскочила из строя и бросилась к Ольге… Она размахивала рукой с зажатым в горсти комком бумажек…

– Ах ты стукачка! На меня куму донесла, трахалась с ним и донесла! Мария Магдалина лагерная! Вот твои скрещенья ног, получай!

Она швырнула бумажный комок в яму, куда сливалось содержимое параш.

Ольга с удивлением глядела на осатаневшую лагерницу и никак не могла понять: за что, почему?

Яма не была глубокой. Ольга видела лиловый конверт, исписанный рукой Бориса Леонидовича. Строй расстроился, все сомкнулись вокруг ямы, даже конвой, и с интересом дожидались, что же последует дальше.

Момент выбора был краток. Она поставила ногу на ледяной уступ и сделала шаг вниз, потом – второй, третий… Когда же она спустилась достаточно низко, чтобы протянуть руку за

единственным досягаемым комком бумаги, выяснилось, что ни открытку выудить, ни наверх вернуться так просто не получится.

Такие мгновения застывают и в действительности, и в памяти.

Миг длился, а Ольга оставалась на прежнем месте. Смилостивился конвойный и протянул ей веточку.

Эту веточку она опустила в жижу и стала придвигать к себе скомканную открыточку, словно детский кораблик. Потом к ней потянулись сразу несколько рук, и ей помогли вскарабкаться наверх.

Не обращая ни на кого внимания, она села на поваленное бревно, разгладила лиловый конверт и вытащила оттуда вчетверо сложенную бумагу. Она была совершенно пуста.

– Получила? Получила, сука лагерная?! Вот такое тебе письмо, вонючка! А настоящие еще глубже, полезай!

Спустя день иди два, одна из монашенок ночью разбудила ее.

– Наша Богородица звала тебя к себе.

Ольга и раньше ловила на себе пронизывающий взгляд этой неподвижной женщины и от него сжималась в комок. А теперь она встала и безропотно последовала за приглашавшей. В дальней части барака белел выложенный простынями угол. Там и обитала та женщина. Ольга поклонилась ей. Та взяла ее руку и долго держала, не отпуская.

– Ты красивая. И тебе надо сильно каяться. Все отринь, извергни скверну из себя. Ведь такие, как мы, и не живут на этой земле. Ложись сюда, отдохни.

Ольга молчала. В памяти возникла фреска в церквушке-складе с двумя электрическими лампочками на месте глаз… Женщина обняла ее за плечи.

Глава 12
И снова доктор…

Погода на Рождество в тот год была самая ужасная, какую только можно придумать. Резкий порывистый ветер нес низко над землей рваные клочья туч, потом вдруг из них начинал сыпать снег, в судорожной поспешности какого-то белого помешательства.

В галерее под окнами его квартиры к новому году меняли экспозицию, и картины из запасников к основному зданию рабочие переносили почти бегом.

Борис Леонидович стоял у окна и слышал, как жена за его спиной расставляет на столе посуду, наряжает елку. И павлиньи краски холстов, и яркая расцветка елочных игрушек казались ему неестественными, недопустимыми.

Писатель дошел до прихожей и снял с вешалки шубу…

Зинаида Николаевна хорошо чувствовала мужа, как по нотам читала его молчание, и сразу бросилась преграждать ему путь.

– Я иду к Левиным…

– Умоляю тебя, – произнесла жена уже чуть ли не на коленях.

– Его отец дружил с моим отцом, лечил меня в детстве, сам Гриша был моим другом, – объяснял Борис Леонидович, – и вот сейчас газеты откровенно призывают расправиться с ним, так же, как с теми, кто арестован по обвинению в попытке отравить руководство компартии. Он каждый день ждет ареста, и у него нет, поверь, вот такой новогодней елки… Я не могу его спасти, я знаю…

– Еще бы. У тебя были десятки возможностей в том убедиться. Сколько ты написал Сталину заступнических писем? Спас ли ты хоть одного?

– Одного – да.

– Кого же?

– Себя.

– Ну, это все слова. Сталин по-особому к тебе относится и терпит твои выходки, когда выдвинули твою кандидатуру на соискание Нобелевской премии, то мы все, надо признаться, отделались лишь легким испугом… Я все делаю, чтобы сохранить наш дом, твой покой за письменным столом, а утром ты мне разрешаешь прочитать написанное, и я безропотно читаю: «Прелесть моя незабвенная! А пока тебя помнят вгибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я

запишу память о тебе в нежном, нежном, щемящее-печальном изображении». Раз я это читаю, то получаю право нечто у тебя попросить. И я прошу: не ходи к Левину. Дело врачей особое, оно коснется всех евреев, и терпение Сталина по отношению к тебе может оказаться не безграничным.

Борис Леонидович вышел к набережной. Снег впитывался в каракулевую шапочку, в воротник, даже в брови. Ближе к площади стали попадаться люди с елочками в руках.

Чтобы попасть к Левиным пришлось миновать виадук над железной дорогой. Несмотря на непогоду, какие-то двое стояли, облокотившись о перила моста, смотрели вниз и о чем-то переговаривались. Писатель остановился в шаге от них и тоже глянул вниз. Рельсов не было видно, только цепи столыпинских вагонов, чернеющих в мрачном ожидании движения.

– Вот и вагончики подогнаны для наших евреев. Наконец-то? Ведь вот эти врачи-отравители, покушавшиеся на наших вождей, кто они по национальности? То-то. Долго они нас мурыжили, а сейчас вскрылось их подлинное лицо, лицо этого народца.

Говорящие на мосту заметили наблюдавшего за ними прохожего, замолчали, пошли и стали быстро удаляться в сторону центра. Борис Леонидович остался на мосту один.

Цепь вагонов казалась бесконечной, по обеим сторонам моста не просматривались ни хвост, ни голова железнодорожного состава.

Внезапно нахлынуло воспоминание об Ольге. В одном из таких вагонов, предназначенных для перевозки товаров или же скота, могла быть в тот далекий год ее ареста перевозима и она, в нескончаемой черной трубе, наполненной стонущими ворочающимися телами бесполых существ, скрежетом металла на полустанках, лаем невидимых собак. За этим воспоминанием обычно следовало другое, еще более страшное, и оно нагнало Бориса Леонидовича, когда он стал переходить улицу, чтобы войти в подворотню дома, во дворе которого проживала семья Левиных.

Легко было заметить, что дом находится под наблюдением. Некто в полушубке беззаботно прогуливался взад-вперед по тротуару, словно эта городская морозная вьюга доставляла ему истинное наслаждение. Другой охранник легко угадывался в полумраке двора.

И вот, когда Борис Леонидович вошел в подворотню, вдруг вспомнилось ему событие, случившееся четверть века назад, летом, в знойной деревенской глуши.

Машина, везшая их, группу писателей, осмотреть создаваемые колхозы, вечером сломалась в пути. Истерзанные дорогой, они разбрелись, кто куда. А Борис Леонидович ступил на узкую, крепко протоптанную тропу, напомнившую вдруг тропы в сказках братьев Гримм, по которым направлялись в свой опасный путь отвергнутые сыновья дровосеков. Странное предчувствие охватило тогда писателя. И не обмануло…

На распластанном листе подорожника он увидел каплю крови, и потом через каждые полшага эта капля повторялась, как нескончаемое многоточие, а поэт, как зачарованный, шел по этому следу к самому страшному впечатлению своей жизни.

Тропа привела его к поляне. В небесах еще пылал кровавый закат, а тут, внизу, на земле, уже воцарялась ночь.

Посреди поляны чернела ветхая бревенчатая изба, и он, немного поколебавшись, перешагнул порог. Над трубой расползался жидковатый дым, значит, внутри – люди.

Их он и увидел, освещенных пламенями печи. За столом сидели трое мужчин и одна женщина. Они угрюмо и поспешно глодали кости, отвернувшись друг от друга, как занятые добычей собаки. На полу возле печи стоял измятый жестяной таз, а в нем, в кровавой воде светлел расчлененный детский труп.

Борис Леонидович вошел в подъезд Левиных. Лифт не работал, и пришлось подниматься наверх по темной и тесной лестнице. Вскоре он устал, сел на ступеньку.

И тут его навестило вдохновение. Он выудил из кармана бумажку, карандаш и стал быстро записывать:

А дни все грозней и суровей,
Любовью не тронуть сердец,
Презрительно сдвинуты брови,
И вот послесловье, конец.

Сложил бумажку вчетверо, встал, позвонил в двери с латунной дощечкой «Доктор Г. М. ЛЕВИН».

Дверь открылась не сразу, и не сразу Борис Леонидович узнал стоящего за порогом хозяина квартиры, страхом и ожиданием гибели истерзанного человека. А тот узнал сразу, но перепугался почему-то еще больше.

– Ты не должен сюда заходить. Мы чумные.

Пастернак перешагнул через порог и молча обнял старого друга юности. В воспаленных глазах Гриши Левина блеснули слезы. Из-за таких минут стоит жить и, может быть, даже умирать.

Посреди большой гостиной еще стоял, как обычно, большой круглый стол под шелковым малиновым абажуром, плотные портьеры аккуратно прикрывали окна. То, что в квартире оставалось, не розданное соседям или родственникам, было упаковано, подготовлено к выносу. На кухне, на газовой плитке, сжигались старые письма и фотографии. Лишь бумажная тарелка громкоговорителя на расклеенной богатыми обоями стене напоминала о прежней жизни. Из нее доносилась тихая предновогодняя музыка.

Борис Леонидович вытащил из кармана вчетверо сложенный листок и протянул другу.

– Вот мой тебе подарок на Новый год. Стихи называются «Дурные Дни», вроде сегодняшних, правда? Напи-сал их на лестнице перед твоей дверью.

Из недр квартиры появилась безмолвная женщина, жена.

– Вот мы вдвоем остались, ждем, – смиренно «докладывал» Левин, – внуков разослали по разным городам да родственникам. Вряд ли это им поможет, но может быть?

Женщина посмотрела в глаза Борису Леонидовичу с такой щемящей благодарностью, что тот не выдержал – отвернулся и нервно зашагал вдоль портьер.

Доктор Левин быстро просмотрел страничку и некоторое время наблюдал за другом.

– Сегодня я впервые заметил, что ты все же прихрамываешь.

– В таком случае, ты второй, кто это заметил.

– А первый?..

– Это важно? Не знаю, но это был Сталин. В двадцать пятом году писателей поочередно вызывали к нему на беседу… Я сделал ему навстречу всего три шага, а он сразу спросил, отчего я хромаю. И очень подробно потом об этом меня расспрашивал. Больше ни о чем. Как будто это было важней литературы.

– А ты ведь, если призадуматься, так с того вечера на даче – помнишь? – только и делаешь, что прыгаешь с обрыва. Вот и сегодня… Это ведь тоже прыжок, чтобы спасти уже утонувшего.

Жена Левина стала накрывать на стол, появилось некое подобие походного ужина. Сидели за огромным столом под сиротливо свисшим с потолка шелковым абажуром, пили чай.

– Когда я шел к вам, видел на железнодорожных путях множество вагонов, в каких перевозят людей… туда. Говорят, что они предназначены для евреев. И вот… если это на самом деле произойдет, я останусь? Как было с бедной Ольгой? Она в аду, а я мягко сплю и вдоволь ем? Как было тогда, в тридцатые, ты помнишь? Никого не пощадили, кроме меня… Я иногда думаю:

не мучительнее ли такое самой смерти?

– Значит, ты избран быть свидетелем, чтобы рассказать живым о нас, мертвых.

– Те же слова мне сказала и Нина Табидзе, жена очень близкого мне грузинского поэта, погибшего… как многие. Она принесла и вручила мне пакет с гербовой бумагой, на которой Тициан Табидзе записывал свои стихи. Это было сразу после войны. И тогда я начал… Положил перед собой на столе чистый лист, на котором рука Тициана никогда более не запишет ни одной строчки, и появились первые слова: «Шли и шли и пели “Вечную память…”» А сейчас эта работа – большой роман, главный в моей жизни. Он завершен, а меня преследует ощущение пустоты, того, что все это было для меня слишком легко, что от меня требуется нечто большее.

Раздался звонок в дверь, потом еще один и еще…

Сидящие за столом переглянулись. Левин грузно встал и неуклюже, боком направился в прихожую. Вскоре он вернулся в столовую в сопровождении «стайки» вооруженных мужчин.

Женщина встала, а Борис Леонидович оставался сидеть на своем месте. Офицер направился к нему.

– Ваши документы.

Взяв из рук Пастернака маленькую книжечку, он движением руки показал, что следует оставаться на месте, сам же направился в прихожую и стал названивать по телефону.

Женщина принялась укладывать в брезентовый мешок вещи будущего арестанта. Офицер вернулся и протянул Борису Леонидовичу его документы. Глядел неприязненно.

– Уходите отсюда.

Никто не сдвинулся с места, пока писатель одевался, временил, взглядом прощался с обреченными.

…Ах, эти роковые октябрьские звезды, спутницы и наблюдательницы всех судьбоносных оползней этих двух жизней. Они уже понемногу растворялись в позднем утреннем небе, когда неторопливый поезд тех далеких лет приближал Ольгу к ее дому, к Москве. Мимо окон ползли вросшие в землю вечные, неистребимые русские избы, и лишь по все чаще возникающим скелетам разграбленных и разгромленных церквей можно было догадываться о приближении к столице.

Какой стала Ольга за эти тяжкие, а для многих и смертельные, годы? Женщиной толпы в истрепанной грязной одежде, косынке, завязанной сзади, как у крестьянки, с загорелым огрубевшим лицом. А глаза оставались живыми, но иногда, при каком-то никому не известном воспоминании, стыли и гасли.

«Разбежался» пятый десяток, а жить приходилось, ей чудилось, с самого начала. И никто не мог шепнуть ей – как. Наверное, поэтому, когда поезд, миновав тот самый виадук, на котором в предновогодний вечер Борис Леонидович рассматривал многогорбые составы, предназначенные для радикального решения еврейского вопроса, влетел наконец на перрон Казанского вокзала и, пропищав, остановился и застыл, она не торопилась выходить. Сидела на дощатой лавке и смотрела на сначала заполнившийся, а потом опустевший перрон.

Глава 13
Возвращение

И лишь когда ее грязное, в подтеках, лицо встретилось с лицами встречающих, она встала, взяла мешочек со скудным лагерным скарбом и ступила на московскую землю.

Ее встречала мама, Мария Николаевна, и двое детей: сын и дочь. Дети обнимали ее, трогали, старались заглянуть в глаза. Ольга вспомнила про гостинец и, порывшись в кармане ватника, протянула им по конфетке. Это было трогательно и горько: большим детям – конфеты из лагерного ларька… Вряд ли они были способны усластить печаль, накопившуюся за эти годы.

Мария Николаевна стояла рядом, молча наблюдая за встречей. Ира, внучка, смахивая с глаз слезинку, что-то радостно щебетала.

– Когда пришло известие о твоем возвращении, Борис Леонидович нам позвонил, – рассказывала Мария Николаевна, – очень радовался, сказал, что будет материально нам помогать так же, как и тогда, когда ты была в лагере, но что ваши отношения, по всей видимости, изменятся и поэтому он не сможет тебя встретить. И еще он сказал, что закончил большой роман и что там все про тебя и три страницы про меня, и есть одно место про Митю.

Митя, молчаливый с загадочным взглядом мальчик, пристроившись сбоку, сдирал с материнского ватника грубо пришитый лагерный знак.

Ольга развязала вещевой мешок, вынула из его недр туго перевязанную связку и отдала Ире. Остальное досталось Мите.

– Письма мы будем хранить, а это, Митя, брось в реку, – решительно указала на конверт Ольга. – Начнем новую жизнь, дети. Идите, дети, домой, накрывайте на стол, а мы тут, две старые лагерницы, поговорим о своем.

И вот Ольга и Мария Николаевна сидят на скамеечке на площади трех вокзалов. Ольга с любопытством наблюдает за толпой, торопливой, как всегда, загруженной утренними покупками, говорливой и молодой. Высокое здание со шпилем появилось за то время, пока она отбывала свой срок. С его фасада снимали портрет Сталина и заменяли новым, сложенных из квадратиков мозаики. И день выпал солнечный.

– А я и обрадовалась, что он не пришел.

– После лагерей тебе будет очень трудно достать работу, – произнесла Мария Николаевна. – Если бы не деньги, которые нам

передавал Борис Леонидович, мы бы не выжили.

– Но сейчас мы не можем брать у него деньги?

– Да ведь и тогда нельзя было.

– Это все проклятие Вани, моего первого мужа.

– И я так думаю.

– А началось-то ведь это еще раньше, с первого ужасного поцелуя. Был такой праздник… спортивный или военный… я на нем изображала Колхозницу мухинской скульптуры, потом стихи читала, и какой-то прощелыга, изображавший Рабочего, нагло поцеловал меня. И это было как будто и не в жизни, а во сне… Если бы я его встретила, наверное, прибила бы. Если уж сидеть, то за убийство такого…

– Приревновал твой Ваня. Но вообще, винить никого нельзя… кроме меня. Летом восемнадцатого года я решила и свою судьбу, и твою. Ты спала и ничего не подозревала. Тебе тогда было только семь. Твой отец подъехал на машине к нашему особняку и сказал, что большевики уже наступают. И предложил нам уходить с Белой армией. Стал раскладывать маршрут: идти в южном направлении, там соединиться с деникинскими… податься в Константинополь, а затем – в Париж… Мне все показалось это тогда каким-то бредом. Потом, мне так хотелось выспаться, что я отказалась. Твой отец разозлился и уехал. С тех пор я о нем ничего не слышала.

Ольга поднялась со скамьи.

– Я одна прогуляюсь, – в голосе Ольги почувствовался холодок.

– А скажи, там, в тюрьме, у тебя на самом деле был ребенок?

Ольга покачала головой: нет.

– Я так и думала, – отозвалась Мария Николаевна.

Больше они об этом никогда не говорили.

Шаг за шагом Ольга осваивала и припоминала Москву с ее подозрительными милиционерами, ругательствами, нацарапанными на стенах домов, предпраздничной наглядной агитацией и светозарными на плакатах рабочими и крестьянками.

Она поспела к трамваю и прыгнула в него. Рабочий день уже начался, и вагон был почти пустым. Ольга уставилась в окно, как на киноэкран, вспоминая свое, далекие дни…

Она и не заметила, как на лавке рядом с ней оказался сравнительно молодой, веснушчатый мужчина, наверное, рабочий или шофер.

– А ты по какой статье сидела?

– Мужа своего до петли довела, вот и села.

– Да ты просто зверь какой-то! С первого взгляда и не

скажешь.

– Ну, меня-то ты так просто со свету не сгонишь.

– Не зарекайтесь. Со мной шутки плохи.

– Чур-чур! Но все же…

Проезжали мимо стадиона, на котором она некогда читала свои стихи…

Глава 14
???

Что могла думать Ольга о Борисе Леонидовиче в те первые дни по возвращении из лагеря?

После столь длинной разлуки Ольга сама не стремилась к немедленной встрече с Борисом Леонидовичем. Ну и потом, у нее был какой-то необъяснимый ступор. Правда, с Пастернаком встретилась ее дочь… На Чистопрудном бульваре они сидели на лавочке, говорили. Может быть, Ольге думалось, что «ее Боря» что-то подробно расспрашивал у Иры, возможно, даже хотелось, чтобы он «выпытывал» о ней что-то.

Но Ольга, конечно, догадывалась, что он ее боялся, и особенно боялся встречи с нею. Мало ли, что могло произойти там, в лагере, все-таки – четыре года… Люди, даже крепкие, порой ломаются и в месяц, и в два, а то и сразу. Кроме того, из нее могли сделать стукачку, лесбиянку – да кого угодно. Но самое страшное, она могла вернуться оттуда не совсем психически здоровой. А из красавицы, какой он ее помнил, могла превратиться в старуху. И конечно, она знала, что Зинаида Николаевна у постели больного сына вырвала у Бориса Леонидовича обещание больше не встречаться с Ольгой. Знала и про его инфаркт. Решила, настаивать на встрече она не будет. Она просто доверится своей судьбе.

Вот кое-что из воспоминаний Ирины Емельяновой о той ее встрече с Пастернаком в апреле 1953 года.

«У меня из головы сразу же вылетает странное поручение, которое дал мне все в ту же встречу на Чистых прудах Б. Л. Как всегда, это было достаточно туманно и загромождено попутными рассуждениями, однако суть я поняла, она сводилась к следующему: маму он никогда не оставит, но прежние их отношения невозможны… Я должна это маме втолковать. Прошло столько времени, оба столько испытали, ей и самой это возвращение к прошлому покажется ненужной натянутостью, она должна быть свободна от него и ни на что не рассчитывать, кроме преданности и верной дружбы… Ну, я была достаточно и начитанна, и деликатна, чтобы воспринять такие заявления как бесповоротные, и, как могла, отнекивалась от поручения. Однако эта комиссия все-таки надо мной висела, и, только увидев маму во всем ее прежнем обаянии, совершенно искренне забыла недавний туманный и в чем-то довольно жестокий разговор. Сами

разберутся!

И они разобрались сами».

Глава 15
Явление Живаго

Несколько месяцев спустя надвинулась зима. Город занесло снегом, тротуары покрылись льдом, Ольга вставала задолго до всех горожан, наспех завтракала, направлялась к памятнику героям битвы под Плевной, возведенному в форме шатра и увенчанному позолоченным крестом. Она отпирала дверцу, входила в переоборудованную под складик часовню, находила свою скребню и железный лом и направлялась на свой участок работы. Задача заключалась в том, чтобы соскрести с тротуаров снег и расколоть вновь образовавшийся слой льда.

Ольга была по-прежнему одета в лагерный ватник, голову завязывала толстой шерстяной косынкой. Она брала обеими руками лом, поднимала вверх, насколько хватало сил, и обрушивала его на волнистые ледовые хребты. В общем, было, как в лагере в первую пору, с той только разницей, что вокруг пробуждалась, зажигала огни, сломя голову неслась к трамвайным остановкам, дымилась и грохотала Москва. Благодаря этому многое можно было вытерпеть.

Изредка Ольга останавливалась, отдыхала, наблюдая за прохожими. На нее же никто не обращал внимания. Она стала такой же частью зимнего пейзажа, как столб с фонарем, как киоск, как снежный сугроб.

Наверное, поэтому однажды в двух шагах мимо нее прошел Борис Леонидович, не различив ее и не заметив. Ольга несколько минут смотрела ему вслед, потом взялась за лом и изо всей силы ударила по ледяной корке.

Иногда под конец недели появлялся веснушчатый ее знакомый из трамвая. Ольга прятала под какой-нибудь лестницей лом и скребок, и они вдвоем шли в погребок, где собиралась шумная ватага работяг-простолюдинов. Женщины там бывали редко, но Ольгу уже встречали как свою. Пока веснушчатый толкался у стойки, выбирая закуски и напитки, приветствовал знакомых и делился новостями, Ольга занимала свой насиженный уголок у радиатора, грелась, а если оставалось время или приходило вдохновение, доставала из кармана ватника тоненький блокнотик, карандашик и начинала что-то записывать. Веснушчатый это терпел.

– Все стихи пишешь? Прочитала бы гостям.

– Это не стихи, – уточнила Ольга, – а переводы стихов.

– То есть как?

– Поэты пишут стихи на разных языках, а я перелагаю их на русский.

– Так это ты, выходит, все иностранные языки знаешь?

– Да мне незачем их знать, стихи-то переведены на русский.

– Раз так, зачем еще раз переводишь?

Этот разговор и расспросы повторялись, по-видимому, не раз и не два и доставляли веснушчатому немалое удовольствие. А раз он не стал смеяться над ее неуклюжими попытками объяснить разницу между подстрочником и стихотворным переводом, а посмотрел на нее в упор и мрачновато спросил:

– А тебе, значит, не нравится такая жизнь, как эта? Ты другой желаешь? И сил на нее хватит? Ты же своя, простая баба, зачем тебе это? И никому не нужны эти твои переводы.

Ольга повернула голову к своему отражению в облезлом зеркале: а может, в самом деле, – она просто баба и больше ничего?

Она и дома часто заглядывала в зеркало, сбросив опостылевшие одежды, распустив свежепрополосканные волосы, стерев с лица усталость. Глядела на себя, гладила по коже и словно чего-то дожидалась. Она уже перестала вздрагивать от дверных звонков, не вздрогнула и в тот вечер, когда кто-то из детей повернул ключ и впустил вечернего гостя, а потом с испуганным лицом прибежал звать маму.

Ольга вошла в гостиную и увидела Бориса Леонидовича, неузнаваемо потрясенного и заплаканного.

– Что с тобой, Боря? Что случилось?

– Он умер.

– Кто?

– Понимаешь… он умер.

Она стала ласкать его, усадила на диван, платком вытерла слезы. Дети в прихожей, пошептавшись с Марией Николаевной, вскоре исчезли из квартиры, оставив Ольгу и Бориса Леонидовича вдвоем.

– Он умер, – повторял он, не отдавая себе отчета, а Ольга ждала ответа на свой вопрос. – Понимаешь, умер… Прости меня, конечно, это смешно. Сегодня я написал главу, где мой герой умирает. Позже ты его узнаешь, его зовут Юрий Живаго. Я просто вспомнил день, когда я сам был ближе всего к смерти. Я тогда только что вышел из больницы, из-под опеки Гриши Левина, и сел в трамвай, чтобы доехать до дома. А трамвай все время ломался, и те, кого он по дороге обгонял, все эти пешеходы, в конце концов его опережали. И каждый раз, когда он застревал, я чувствовал, что вот-вот умру. Меня спасло воспоминание о женском лице, я

говорю о лице девушки, которую я мог спасти и не спас. Видение было мгновенным, но таким ярким, как будто я его представил в этой трамвайной давке. Я понял, что мне дан знак – жить дальше…

– И ты вышел из трамвая и пошел пешком.

– И снова сел перед пустым листом бумаги. Но прошло много лет, прежде чем я написал первые слова. Но вот… и это единственный труд, которого не стыжусь и за который отвечаю. Он про тебя и про меня, и лучшие страницы написаны в те месяцы, когда ты страдала в тюрьме, когда погиб наш ребенок, а я ничем не мог вам помочь.

– Разные сказки получились: ты строил Ноев ковчег, а я думала, как Золушке вернуться домой без одной туфельки.

– Ты мне всегда и снилась такая, как сейчас.

– Почему же ты не пришел меня встретить на вокзал?

– Неужели я снова потеряю тебя?.. – почувствовав некоторый укор произнес Борис Леонидович.

Он подошел к окну и с высоты шестого этажа посмотрел во двор. Ярко сияла луна, и в ее свете чернели на снегу три фигурки: детей и Марии Николаевны.

– Лелюша, да мы же изверги, – очнувшись, вдруг воскликнул Борис Леонидович, – я тебе рассказываю содержание «Живаго», а они там мерзнут…

Потом, когда все, как бы единой семьей, сидели за столом под малиновым шелковым абажуром и пили горячий чай, Борис Леонидович хотел было продолжить о романе, но Ольга стала с иронией размышлять о предстоящей жизни:

– Что ж, начнем сначала, с того самого места, в котором все прервалось… Сниму за городом дачу, куда сам черт не доберется.

– Замечательно придумано! А я придумал вот что. Тебе нужна профессия. Я помню, ты пробовала переводить стихи. Я тебя этому научу. Увидишь, у тебя выйдет множество книг. Больше, чем у меня. Потому что меня по-прежнему не печатают.

Митя притащил из недр квартиры любительский фотоаппарат, раздвинул треножник и взмахом руки велел всем застыть. Это был первый снимок Бориса Леонидовича с Ольгой.

Она проводила его до угла. Там он сказал то, чего не хотел говорить в квартире.

– Я предложил рукопись романа литературному журналу. Они ее прочли, не говорят «нет», но и не печатают. Это худшее. Они его никогда не напечатают. Они будут кричать, что роман антисоветский.

– Да, я это слышала еще на Лубянке.

– А он просто – несоветский. И я не хотел бы ждать у моря погоды. Ко мне приходил один итальянец с очень экстравагантной «фетишей». Он мне сказал, что Фельтринелли, один из крупнейших издателей Италии, услышал по радио о моем романе и заинтересовался им. Я подумал, подумал и решил, что дам этому миланцу рукопись для ознакомления.

– Ты ему ее уже дал?

– В некотором смысле, да.

– Ну, что ты наделал? Ведь сейчас на тебя начнут всех собак вешать.

– Да что ты. Ну, почитают итальянцы, понравится – пусть используют, как хотят.

– Ты так этому итальянцу и сказал?

– Приблизительно.

– Ведь это же разрешение печатать роман за границей!

– Но ведь здесь, в этой стране, его никогда не напечатают!

Тон Пастернака, вспоминала впоследствии Ольга, был несколько заискивающим: Борис Леонидович был и доволен тем, на что решился, и было ему не по себе, и очень уж хотелось, чтобы Ольга одобрила этот поступок. Но Ольга отнеслась к происшедшему недоброжелательно.

– Правительство тебе этого не простит. И если они даже собирались печатать твои стихи, то теперь, можешь быть спокоен, печатать не станут.

– Как это ты замечательно отгадала! – он неожиданно повеселел. – Более того, более того! В конце недели я покажу тебе такое, чего ты никогда раньше не видела.

Она и впрямь такого никогда не видела, а ему же довелось наблюдать это зрелище второй раз… Та же была зала, те же машины, те же наточенные ножи, рассекающие на узенькие полосы сброшюрованные страницы книги, шум как от водопада. Борис Леонидович улыбался какой-то шальной улыбкой…

– Какая замечательная метель из слов и слогов! Знаешь, мне сейчас представилось: эти вот ножи разъяли все мною раньше написанное, а мне совсем не жалко, потому что слова не пропадают, они попросту улеглись в новом порядке в моем новом романе, в новом порядке, новом смысле, и уж этого порядка и этого смысла нашему правительству не разъять!

Ольга взглянула на него по-матерински, как на расшалившегося мальчика и, почувствовав прилив нежности, положила голову ему на грудь.

Поэты иногда заговаривают о вещах и явлениях, которые вроде – за чертой видимости и даже возможности, но, тем не менее, они в тот самый миг и сбываются. Так было и на этот раз.

За тысячи километров от Москвы, от этой залы с книжной мясорубкой, в другой зале, другая машина, издавая те же звуки, печатала тома романа «Доктор Живаго».

Глава 16
Как избавиться от «Живаго»?

И как будто заработала огромная всемирная машина, перемалывая будущие их дни и месяцы. Кружились лопасти, превращающие стихи в мутную бумажную жижу, вихрем кружились типографские станки в Милане, Париже, Нью-Йорке. А никелированные турникеты на Лубянке, хоть медленнее, но тоже крутясь вокруг оси, пропустили в то солнечное утро внутрь не очень старого здания измятого жизнью лгуна, человека с блеклым вельможьим лицом. Этот человек наклонился к окошечку, за решеткой которого находился часовой офицер, и показал паспорт.

– Поликарпов, заведующий отделом культуры ЦК.

Часовой порылся в бумажках и протянул ему одну.

– Ваш пропуск, пожалуйста.

Поликарпов зашел в лифт.

Вскоре он уже оказался в просторном кабинете с видом на далекие кремлевские звезды, перед генералом с таким же бесцветным лицом.

– Ну и что же? – сказал генерал.

– Да, вы, по всей видимости, были правы. Нобелевская премия по литературе достанется Пастернаку.

– А я вам это говорил, как только на Западе опубликовали роман «Доктор Живаго».

– Но до сих пор не могу поверить. За что?! Я не смог прочитать больше двадцати страниц: скука смертная.

– Ну, вы у нас выносливый. Никита Сергеевич Хрущев признался, что на десятой минуте заснул. То-то и оно! Международная, так называемая, общественность хватается за что попало. Ну, а что мы по этому случаю предпримем?

– Мы прореагировали. В типографии уничтожен весь тираж подборки его стишков.

– Но к этому он, насколько я знаю, привык. У нас с вами это в порядке вещей. Кстати, на днях присутствовал на уничтожении сочинений товарища Сталина, поучительнейшее зрелище. Так вот, в XIV томе, к слову, присутствует и дело вашего Пастернака. И в нем я нашел такую изюминку! Надо же… проходил по делу троцкистской террористической организации, были и показания его коллег, но к суду не привлекался и арестован не был. Интересно, правда? Если Иосиф Виссарионович и любил кого-нибудь по-отечески, так это именно его… И выпестовал!

– Пастернак – пока единственный, кто осмелился на

публикацию на этом ихнем Западе.

– Я иначе бы сказал: он – первый, кто, – добавил генерал, подняв указательный палец вверх. – И если мы не предпримем мер, то обнаружатся и вторые, и третьи… А мы потеряем контроль над литературой.

– У Пастернака, мне кажется, сейчас нет заступников в верхах?

– Что вы хотите сказать? Что мы должны его арестовать?

– Нет. Просто выдворить из страны и заставить забыть.

– Как вы это себе воображаете? Вы же знаете, что он никуда из этой своей дачи, кроме как ногами вперед, не уедет. Мы что, волоком должны его вытаскивать? Сейчас мы этим не занимаемся. И ему, не забудьте, без году семьдесят.

– Старик-то старик… однако, шустер парнишка!

– Да… шустренький. А что, если он откажется?

– От чего?

– От Нобелевской премии.

– Ну, Пастернак не откажется, он гордый. Вот Сурков, тот бы отказался. Но ему никто эту премию и не даст.

– Мне кажется, отказаться – единственно возможное для него решение. А вы там у себя, в ЦК, подумайте, с какой стороны к нему подкатить.

Глава 17
И снова премия

Наконец настал этот вечер, умиротворенный, с золотом осени за окнами дачи, первыми звездами над темными волнами леса. Борис Леонидович сидел перед музыкальным инструментом, медленно подбирая звуки для очередной импровизации… Возникшая музыка напоминала качку серых вод северного моря… Приближался далекий скалистый берег и возникали, как будто рождаясь из вод, очертания незнакомого города.

Борис Леонидович уже знал, что это за город. Он резко прервал игру, закрыл крышку инструмента, встал.

Набрал телефонный номер, дождался ответа.

– Милая барышня, запишите международную телеграмму. Текст такой: «Швеция, Стокгольм, Шведская Королевская академия, Нобелевский комитет. Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен. Пастернак». Сегодня успеете отправить? Бесконечно благодарен.

Писатель положил трубку и некоторое время оставался у окна, пока не разобрал какие-то приглушенные, повторяющиеся в домашней тишине прерывистые звуки. Они были ему незнакомы.

Он стал ходить из комнаты в комнату, вслушиваясь, стараясь отыскать источник звука.

В маленькой комнатушке под лестницей он увидел сидящую на стульчике жену. Зинаида Николаевна плакала, закрыв лицо ладонями.

– Я боюсь, – произнесла она.

Он подошел, положил руку ей на плечо.

– Да. Пришел и мой черед.

Глава 18
Провокация

События теперь не заставляли себя ждать. Когда на следующее утро Борис Леонидович сел в электричку, направлявшуюся в сторону платформы, где снимала дачу Ольга, вслед за ним в вагон втерся невзрачный безликий субъект, какими полнятся все утренние пригородное поезда.

Он сел на лавочку напротив писателя, хотя вагон был практически пуст. Некоторое время незнакомец молчал, рассеянно глядя на подмосковные пейзажи за окнами вагона, а когда поезд разбежался, взглянул Борису Леонидовичу прямо в глаза и криво усмехнулся.

– Это ты, Пастернак, что ли?

– Да.

Субъект снова как-то по-идиотски усмехнулся.

– Хорошие деньги сгреб, батя. Может, поделимся?

Борис Леонидович взглянул на хама и промолчал.

– Обложил ты нашу страну, навонял. Так что, придется тебе из нее вместе со своей живагой убираться. Можешь уже и вещички складывать.

Монолог обещал растянуться на всю дорогу, и Борис Леонидович встал, чтобы сойти на следующей платформе.

В тамбуре субъект его нагнал и придвинулся вплотную, на расстояние шепота.

– Удираешь, старая сволочь? Тебе же через две остановки сходить! Вот, что я тебе скажу: коль примешь от них хоть один их вонючий доллар, вышвырнем тебя из страны, как я тебя из поезда вот на этой остановке!

Он схватил Бориса Леонидовича за отвороты плаща… Осталось неясным, действительно ли он намеревался осуществить свою угрозу или же рассчитывал на силу слов, потому что события обернулись несколько иначе. Ни нападающий, ни писатель не заметили появившегося в тамбуре солдатика.

– Да, как ты смеешь!.. Старика!..

Он был ниже и мельче противника, но силы и гнева в нем оказалось больше. Он оторвал субъекта от Бориса Леонидовича и мощно толкнул его в обитый железом угол тамбура. То ли сила толчка была устрашающей, то ли еще что, но тот, ударившись, стал понемногу сползать на пол.

Поезд подошел к очередной платформе и распахнул двери…

– Вам тут сходить? – крикнул солдатик.

– Да нет, через две, – отозвался Борис Леонидович.

– Ну, тогда я этого типа вынесу проветриться.

Он вытащил нападавшего на платформу и усадил на скамейку. И прежде чем направиться к своему дачному поселку, приветливо помахал Борису Леонидовичу рукой.

Двери закрылись, поезд тронулся.

Домик, в котором в эти дни жила Ольга, был завален стопками исписанных бумаг. Она уже давно научилась переводить стихи, но ничего не печатала из-за уважения к Борису Леонидовичу.

Теперь Пастернак рассеянно просматривал эти рукописи.

– Мне уже нечему тебя учить. Сейчас ты в жизни не пропадешь, и ты напишешь куда больше книг, чем я.

– Твои уроки стихотворных переводов меня спасли, там, в лагере. Я там рассказывала содержание «Фауста», потом трагедии Шекспира… и я совсем не боялась уголовниц: они рассказчиц не трогают.

– Это очень интересно, то, о чем ты говоришь. Почему ты мне не сказала об этом раньше? Ты вообще почти никогда не рассказывала о лагере.

– Да, это правда. А хочешь, покажу тебе одно место. Это совсем недалеко отсюда.

Они вышли из домика и зашагали по узкой вьющейся тропе, ведущей к кустарникам. Смеркалось, приближался закат. Кончалась осень, было в желтизне полей что-то несказанно печальное.

– Я уже очень стар? – неожиданно спросил он.

– Какая глупость! Откуда ты это взял! – испуганно пролепетала Ольга.

– Я сегодня встретил замечательного человека. Это юноша, солдат. Мы, кажется, не обменялись с ним ни единым словом. Но встретились наши глаза секунды на две, на три, и я вдруг понял, что никогда не смогу покинуть Россию, людей, живущих под ее небесами. Иногда я обвиняю себя, что побоялся навестить за границей живущих отца, сестру. Но иногда это себе прощаю. А вот покидать в несчастье людей, даже далеких, даже незнакомых… не могу.

– Да кто же тебя гонит из России!

– Но, если вдруг…

Они поднялись на холм, спустились вниз с другой его стороны и очутились на широкой поляне, примыкающей к высокой ограде из колючей проволоки.

– Вот это место я давно хотела тебе показать. Оно поразительно похоже на нашу лагерную зону. Даже поваленное дерево на схожем месте… Я на нем любила сидеть по вечерам.

Они сели на сухой ствол. На небе, над далекими лесами, уже пылал закат.

– Какое прекрасное место. Неужели там, в лагере, было так красиво?

– Да. Но там еще были люди, – посмотрела она куда-то вниз.

– Да, да. Если бы не было людей, было бы проще жить!

Они прижались друг к другу.

– Сейчас мы оба счастливы?

– Да, я хотел бы, чтобы это мгновенье продолжалось вечно.

Ольга улыбнулась.

– Вернемся, уже прохладно.

– Повременим еще, порадуемся… Мне кажется – больше так хорошо уже не будет.

– Ты сейчас на меня глядишь, знаешь, как кто? – по-детски задорно спросила она.

– Кто?

– Как шпион неизвестной родины!

– Да, пожалуй, – согласился он.

– А ты хочешь мне что-нибудь сказать, спросить, попросить?

– Еще порадуемся, Лелюша. Когда начинаются вопросы, счастье и кончается.

Они вернулись в дом, устроились в уютном уголке дивана, и Борис Леонидович спросил:

– У тебя есть чистый лист бумаги?

Вопрос был странный: вся комнатушка была завалена бумагой… Но Ольга почему-то заметила на полочке тот самый лиловый конверт, в котором все эти годы хранила выловленный из сточной ямы пустой лист… Борис Леонидович достал ручку и подписался в нижнем углу листа.

Вложил бумагу обратно в конверт, подал Ольге и собрался идти.

– Не уходи. Сегодня мне одной почему-то страшно.

– До завтра, мой ангел.

Он ушел, а она не стала его провожать, что было исключением из правил.

Быстро стемнело. Ольга распустила волосы, зажгла свечу и поставила ее перед зеркалом. Потом облокотилась о столик и стала напряженно вглядываться в отражение.

И вот за ее спиной, один позади другого, возникают ее мужья: сначала – первый, потом – второй, оба молодые, как в тот день,

когда умерли. И оба смотрят на нее, не отрываясь.

А потом происходит неожиданное… Ольга вдруг замечает в зеркале отражение незнакомого и злобного лица.

Она вскрикивает, поворачивается к окну. А там – отвратительный оскал подкравшегося к ее домику незнакомца.

Откуда ей было знать, что это тот самый мерзавец, пристававший в поезде к Борису Леонидовичу, которого солдат вышвырнул на платформу.

Отвратительные лица стали попадаться все чаще, и от них стало все труднее закрыться.

Телевизор в то утро показывал съезд комсомола. Гигантский зал, до краев заполненный буйной бездушной молодостью. Над трибуной съезда – сильное и здоровое лицо. Тогда его знали все, это был лидер молодежи Семичастный, впоследствии возглавивший секретную полицию, а через пяток лет приложивший руку к свержению самого Хрущева. Хроника сохранила его выступление, самое разнузданное из всех, направленных против Бориса Пастернака:

– …Пастернак, эта свинья, гадящая на нашу социалистическую Родину, должна быть с позором изгнана. Долой эту гадину из нашего родного дома! Такова воля народа, такова воля всей советской молодежи!

Глава 19
Травля

И тысячи молодых людей на эти слова срывались с места, их единодушный крик сотрясал своды зала и стены тесной квартирки Ольги.

Дети убавляли звук, но как только они уходили из гостиной, Ольга возвращала ручку потенциометра на прежнее место. Как будто ей хотелось оглушить себя.

Она не сразу различила в этом шуме телефонный звонок. А когда различила и подняла трубку, услышала спокойный разборчивый голос.

– Говорят из ЦК. Ольга Всеволодовна, это Дмитрий Поликарпов. Не пора ли нам с вами встретиться? Посылаю за вами машину, а вы пока спускайтесь вниз.

Черная лаптеобразная «Волга» подвезла ее к самому подъезду здания на Старой площади. Ольга выбралась на тротуар, шагнула ко входу, остановилась на минуту, чтобы подправить прическу перед черной зеркальной витриной, и тут же почувствовала взгляд со стороны.

Она повернулась и увидела в нескольких шагах прохожего, настойчиво вглядывающегося в нее. Были в этом взгляде легкое изумление, насмешка, осуждение, а, быть может, лишь печаль над превратностями жизни.

И она узнала этого веснушчатого мужчину.

Но дверь перед ней уже распахивалась, и Ольга шагнула в чрево здания.

Кабинет Поликарпова был обширным, безликим. От кабинета следователя Семенова его отличало разве что безмерное количество книжных полок с изданиями сочинений Маркса и Ленина.

Поликарпов вдруг выразил крайнее удивление.

– Вот так встреча! Не ожидал! Ольга Всеволодовна, так мы же с вами давнишние знакомые. А то я все слышу: Ольга да Ольга, а не знал, что это вы, та самая! А я вас, между прочим, не забыл.

– Но я вас что-то не припомню, – сдвинув брови и глядя собеседнику прямо в глаза, ответила она.

– Да как же? Вспомните: военно-спортивный праздник, вы – Колхозница, а я – Рабочий, мы с вами еще целовались!

Ольга вспомнила и, выпрямившись, скрестила руки на груди.

– Ну, я-то с вами не целовалась!

– Ах, жизнь, жизнь… Да…

– А я, между прочим, всю жизнь хотела вас убить.

– За что, Оля? Я к вашим злоключениям не имел ни малейшего отношения. Вот и сейчас я хочу вам, именно вам, а не кому-либо другому, только помочь.

– Вот вы какой, оказывается, добрый. И вы, естественно, знать не знаете, что ни моих переводов, ни тем более переводов Бориса Леонидовича, никакие редакции не берут…

– Почему же не знаю? Знаю. И это, между прочим, естественная реакция советского народа на его гнусную вылазку. Вы виноваты в том, что, имея известное влияние на этого «писателя», – произнес с ехидством Поликарпов, – не предотвратили его пагубные шаги.

– А со мной, между прочим, не советовались и даже не извещали.

– Вот видите. А шишки-то, мне кажется, вы чувствуете – придется собирать именно вам. Уже существует правительственное постановление о выдворении за пределы страны Бориса Пастернака с семьей. С семьей, заметьте. Вас в этом списке нет и не будет.

Ольга порылась в сумочке и положила на стол лиловый конверт.

– Это отказ от Нобелевской премии.

Поликарпов схватил конверт, вынул вчетверо сложенный лист бумаги и уткнулся, даже впился, глазами в напечатанное.

– Так… подпись. Это подлинная подпись? Так. А он сам это читал?

– Да, мы вместе с друзьями это сочинили и показали ему.

– А он?

– Махнул рукой.

– Что ж, это уже кое-что.

Поликарпов сунул заявление в карман пиджака и стал нервно ходить взад-вперед по кабинету. Внезапно остановился перед Ольгой…

– Но это еще не все, – продолжил он, – заявление об отказе – хорошо, но оно слишком расплывчатое, не содержит оценки своих ошибок. На Западе могут начать кричать: вот, мол, заставили отречься, гонения, тому подобное! Вы понимаете, о чем я говорю?

– Нет, – с некоторым сарказмом произнесла Ольга и улыбнулась.

– Бросьте… Мы слишком большое и могучее государство, чтобы позволить над собой шутить. Не впутывайтесь в это грязное дело, вы уже раз пострадали ни за что, ни про что. А, между прочим, вы тогда могли спокойно подписать заявление на Пастернака, ему в те времена все равно ничего не грозило. Иосиф

Виссарионович любил его, как собственного сына. А вы на упорстве загубили свою молодость. Так что давайте не ссориться. Вот столик у окна, два стула, бумага, вот книги и статьи Пастернака… Давайте сядем и сочиним такое письмо, какое от него ожидает весь советский народ. А он потом его подпишет.

– А с чего вы взяли, что я стану придумывать эту мерзкую бумагу?

– А это уже тонкая область. Ведь вы однажды такую уже написали. Помните, вы передали Пастернаку из тюрьмы записку, что, мол, беременны и так далее? Но ведь такого не было! Вы это знаете, и мы это знаем. Вы тогда просто хотели спастись, чтобы он за вас заступился. И написали. Вот и сейчас, давайте поработаем сообща. Дело-то благородное, полезное, для него, между прочим, тоже. Ведь он там за границей и месяца не протянет! Что, разве не так?

Ольга послушно уселась за столик, где лежали сборники стихотворений Бориса Леонидовича. Зачем?! «Охранная грамота», «Люди и положения»… Она листала это, как чужое, как подшивки старых газет, как мертвое. Да и сама она чувствовала себя мертвой. Она так и сказала:

– Всю жизнь мечтала вас убить, а убили все же вы меня. Ну что ж, берегитесь тогда меня на том свете! – произнесла Ольга и, глядя в глаза Поликарпову, добавила, – да только он этого не подпишет.

– Одну бумагу подписал, подпишет и вторую.

Глава 20
Я Пастернака не читал, но…

Больше десятилетия отделяло Ольгу от тех счастливых дней, когда, просыпаясь, она видела в двух шагах от постели Бориса Леонидовича, склонившегося над столом.

Снова была бревенчатая изба Подмосковья, мерное тиканье настенных часов, короткий путь осеннего солнца от левой стены к правой. На тахте лежал Борис Леонидович, прикрытый клетчатым пледом, и, казалось, что он спал, но, скорее всего, дремал. Негромкое постукивание пишущей машинки казалось таким же звуком живой природы, как шорох кустов за окном или скрип шагов за перегородкой.

Печатала Ольга, веером разложив на дачном кухонном столе в кабинете исписанные Поликарповым листы. Сочиняла, «клеила» нечто новое, и по тому, как лихорадочно она это совершала, ощущались срочность и важность дела. Иногда, когда слово не придумывалось, она вопросительно глядела на спящего, и как будто удавалось это слово найти…

Когда же, по всей видимости, сочинение подошло к концу, она вытянула страницу из валика, быстро пробежала глазами, разгладила ладонью и положила на стол.

Ольга всмотрелась в лицо спящего, и оно впервые показалось ей старым, и тени на нем были нехорошие. Кто-то как будто заглянул в комнату с улицы, но тут же исчез.

– Ты так долго на меня смотрела, – произнес Борис Леонидович, проснувшись, – и я почувствовал твои мысли. На этот раз уж ты была, как шпион неизвестной родины.

– А я, между прочим, за тебя написала письмо Хрущеву.

– И что в нем?

– То, чего от тебя ждут. Что твое отношение к революции и Советской власти было ошибкой, но что ты мучительно пересилил себя, и так далее… Получилось пять страниц. Лучше не читай, подпиши, и всем нам станет легче.

Пастернак взглянул на страницу.

– Излишне уверять, что никто ничего у меня не выуживал, что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое живу. О, Боже, неужели это неизбежно? Неужели нет никакого другого выхода?

Борис Леонидович встал и приблизился к окну. Холодный ветреный день клонился к концу. Появились низкие снеговые

облака.

– А что, если мы оба покончим с собой? – вдруг спросил он.

Ольга рассмеялась.

– Ну, это уже не мы. Это из плохого романа о жизни Генриха фон Клейста. С твоей легкой руки я начиталась о нем. Неугасимый порыв к совместной смерти!

– Но не могу же я это подписывать! – возмутился Борис Леонидович.

– Подписал же ты когда-то стихи о Сталине, да еще после того, как стал свидетелем людоедства в колхозе, ведь так?

Писатель присел на маленькую табуретку и занялся печкой. Мелкие щепки и берестяная растопка мгновенно вспыхнули. Воспламенились дрова, затрещали. Печурка захлебнулась пламенем.

– Что ж, ты останешься жить одна.

– И этого письма, и этого разговора не было бы, если перед тем как отдать роман в руки Фельтринелли, ты бы посоветовался со мной.

– Я знал, что ты мне это когда-нибудь скажешь.

– Вот-вот. Тогда ты мне не ответил, почему не пришел меня встретить на вокзал, а сейчас я тебе отвечу, почему же потом сам явился ко мне домой. Тебе был нужен кто-то, на кого можно было бы свалить всю грязную работу – отказ от Нобелевской премии, это вот обращение… Чтобы я была кругом виновата. Ну, разве не так? Ты предлагаешь мне покончить жизнь самоубийством, а ведь ты рассмеешься, если я тебе предложу жениться на мне. Я прошу не просто так, сдуру. Ни тебя, ни твоей семьи власти не тронут, вы все – вольные казаки… Не обижайся, пожалуйста, но после… ты понимаешь, после чего… на следующий день и меня, и всю мою семью – на вторые сроки! Ты вот хочешь сказать, что отдал все финансовые распоряжения и так далее, но ведь, Боря, это уже было. Ты всю жизнь откупался денежными переводами и кратковременными визитами в зачумленные квартиры. Тем, что тебе, по сути дела, ничего не стоило! Но сделай что-нибудь настоящее ради меня и моей семьи, неслыханное, чтобы и тебе болело, чтоб – самопожертвование!

– Не оставляй меня…

– Знаешь, впервые за все наши годы ты посмотрел на меня как на живого, перед тобой стоящего человека. Меня никогда не оставляло подозрение, что ты видишь не меня, а кого-то другого.

– Так и было. Но, всматриваясь в тебя, я всегда догадывался, что мне предстоит.

Они вышли в подмосковную ночь. Дорога вела по темным-

претемным лугам, перелескам, мимо хижин, где в окнах горели мягкие уютные огни. В стороны шарахались тени черных полулюдей, но этот омерзительный театр сыска показался таким смешным по сравнению с тем, что чувствовали шагающие по тропе мужчина и женщина, что Борис Леонидович неожиданно рассмеялся.

Этот смех придал ему сил, вернул уверенность, а его спутницу сбил с толку. Женщина, по-своему растолковав хохот писателя, снова задала волнующий ее вопрос и услышала не тот ответ, на который рассчитывала.

– Ты подпишешься?

– Не знаю. Нет. Я должен подумать. Странички с тобой?

Они остановились, и Ольга вручила ему вчетверо сложенные листики с текстом отречения от Нобелевской премии, от своего прошлого, от себя.

– Но ты лучше этого не читай. И не забудь, что оно должно быть на столе у Хрущева не позже среды!

По мере приближения к даче становился все более явственным какой-то шум, с каждым их шагом он усиливался. Когда же Ольга и Борис Леонидович вышли на обширную поляну, посередине которой возвышалась переделкинская дача, опоясанная сетчатым забором, они увидели густую черную плазму толпы. Лиц не было видно, только общие очертания, зато крики и возгласы различались во всеобщей тишине подмосковных рощ отчетливо и резко.

– Предатель, вон из нашей страны! Пастернак-костернак, вон! Пастернак-костернак, вон!

Борис Леонидович и Ольга встали под фонарем.

– Ведь это студенты Литературного института… Боже, это же будущее русской литературы!..

В толпе их заметили, притихли, повернулись к ним лицом. Сверкнули огненные точки сигарет.

В иное время, в иных обстоятельствах эти двое изумились бы, что вот пришла пора расставания, возможно, окончательного. Но сейчас Ольга ощутила только страх, тем больший, что в глазах Бориса Леонидовича вдруг возникла редкая для него жесткость и решимость.

– Не станем подписывать!

– Пожалей меня, – отчаянно взмолилась она.

Он ей кивнул и направился прямо в толпу, загородившую калитку.

Еще раз вернулось воспоминание о той далекой,

тридцатилетней давности, писательской поездке в колхоз: поломка машины в пути, тропа, что привела его к поляне, где в избушке полутени-полулюди пожирали своего же ребенка…

Студенты молча расступились, и Борис Леонидович вошел в свой сад.

Крики возобновились лишь тогда, когда он стал удаляться.

– Позор клеветнику! – раздалось из толпы.

В окне второго этажа Ольга увидела неподвижную тень Зинаиды Николаевны.

Когда он вошел в дом, то увидел неожиданное: улыбку жены.

– К тебе пришли гости. Угадай, кто такие?

Она сама открыла двери в столовую и тут же скрылась в кухню. Борис Леонидович узнал Новикова и Романеева. Он обнял каждого.

– О, как я рад, молодые люди, как я рад, что вы здесь! Некогда я сам считал своим долгом навестить гонимых. Тогда мне казалось, что это малость, даже и не помощь, а так себе. Но сегодня, увидев вас, я понял, как ошибался.

В лучистом взгляде Романеева проскользнула доля жалости.

– Да, мы пришли сказать, что мы всем сердцем с вами. Мы не читали вашего романа, но мы много общались с вами, получали от вас ценнейшие консультации, и мы считаем, что то, что о вас повсюду пишут и говорят – чепуха. Недоразумение рассеется, и вы будете реабилитированы.

Новиков замялся и, с трудом подбирая слова, все же вымолвил:

– Но мы хотим, Борис Леонидович, чтобы вы нас поняли: мы студенты и не вправе иметь свою, отличную от всех, позицию. Поэтому мы подписали эту петицию, которую нам поручено вам вручить.

– Только поймите нас правильно…

Писателю вручили большой конверт с надписью: «От литературной молодежи».

– Это можно не читать?

– Да, лучше не читать.

– Тогда мы пойдем. Если можно, мы зайдем в другой раз.

– Погодите минуту.

Борис Леонидович достал из кармана плаща сложенные вчетверо ольгины листы, устроился за столом и тут же, не читая, махнул подпись, вложил листы в конверт и быстро дописал адрес.

– Вы сейчас будете возвращаться в город? – уточнил он.

– Да, – подтвердил Романеев.

– Окажите небольшую услугу. Бросьте это в любой почтовый ящик, поближе к центру.

– Обязательно. Вы на нас не обижаетесь? – переспросил Новиков.

– Да что вы, все в порядке. Обязательно заходите, когда будет время.

И гости как-то боком удалились.

Борис Леонидович подошел к окну. Толпа за оградой продолжала бесноваться. Он направился к роялю, открыл крышку, расслабился и медленно заиграл скрябинский морской «прелюд»: медленно раскачивались воды серого моря, и так же осязаемо истлевали скалы и образные очертания северного города.

Вошла Зинаида Николаева с полным подносом.

– А где же эти славные парни? – удивилась она.

На лице Бориса Леонидовича вдруг появилась ослепительная улыбка.

– Я очень рад. Я очень рад, – ты единственная меня не оставила. Так ведь и должно было быть!

Глава 21
Вождь

Вот описание события из письма самого Бориса Леонидовича:

«Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал сначала в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерями сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство!.. <…>

А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева, зарева Москвы, за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый жар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной – все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением!

В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его. «Господи, – шептал я, – благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык – величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество – Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи. И я ликовал и плакал от счастья».

А потом он заснул и спал, пока среди ночи его не разбудил звонок. Телефонный аппарат на столе дежурной сестры производил не очень громкие, но настойчивые звуки. Куда-то запропастилась сестра, да и лежавшие поближе к ее столику больные оставались глухими к звонкам. Происходящее можно было отнести к разряду обмана чувств, но потом стало ясно, что это он, Борис Леонидович, должен встать и подойти к аппарату, иначе звуки не прекратятся никогда… Происходило нечто непредвиденное, несообразность: но расстояние до столика оказалось не таким уж непреодолимым. И он одолел его. Взял трубку.

– Да.

– Ну, наконец, – прозвучал какой-то знакомый голос.

– Я слушаю.

– Ты до самой моей смерти ждал этого звонка, а сейчас не узнаешь мой голос?

– Иосиф Виссарионович?

– Ты ведь тогда сказал: «Хотелось бы с вами поговорить о жизни и смерти». Вот сейчас, я так думаю, у нас достаточно времени заняться и этим вопросом. На этот раз, я надеюсь, ты не будешь в своих ответах таким уклончивым, как тогда.

– Ах да, существует такой литературный жанр: разговоры умерших. У Лукина, у Фонтенеля… Ходят по развалинам дворцов и рассуждают.

– Лукина припоминаю, а вот этого Фонтенеля вспомнить не могу… Но… продолжим нашу беседу.

– Трудно говорить с человеком, которого не знаешь, тем более – не видишь.

– Ну, это легко исправить. Посмотри в окно за лампой. Видишь, светится окно?

Здание больницы сейчас показалось огромным, а на том далеком его конце, высоко, светилось одинокое окно, и в нем действительно просматривалась фигурка человека.

А в трубке послышался странный крик, вроде совиного.

– Я ведь слышал, как ты тогда кричал мне в окно совой! А я тоже так умею. А раз не выходит нам поговорить о жизни и смерти, давай поговорим о Боге. Ты сейчас по этому вопросу, говорят, специалист. Надеюсь, ты не станешь бросать трубку, как я. У меня тогда, в самом деле, не было времени. Вот, по-твоему, получается, что крестная мука была самой страшной, особенно та минута, когда Христос почувствовал, что Бог его оставил. И меня так в семинарии учили. А я уже тогда знал, что эту муку, эту минуту легко пройти, тем более, в тот момент, а искупителем человечества может быть только тот, кто решится на вечную муку, кто осмелится на вечное проклятие и осуждение. В Завете упоминается один из его учеников, кстати, любимый его ученик, который догадался, что не Голгофа, а осина есть знак искупления. Но никто из людей не пошел по тропе истинного Спасителя, как я. Что же ты молчишь?

– А что мне вам сказать?

– Жду от тебя одного единственного вопроса.

– Я не знаю, какого.

– Ну вот, ты снова не смог ответить. Эх ты! А никогда не думал, почему я всех вокруг тебя отдал на растерзание, а тебя пощадил?

– Да, я часто задавал себе этот вопрос.

– Ну, подумай, подумай, инженер человеческих душ! Разве перед тобой не раскрываются все тайники, все слабости человеческого сердца?

– ?!

– Эх, ты…Так и быть, скажу тебе разгадку, диалектическую. Вот ты молодой был, сломал ногу и решил, что тебе не повезло. А все как раз наоборот – именно это тебя от меня и спасло. Ведь и мой сын Василий, сорванец, прихрамывает. Как я мог тебя такого тронуть?

И тогда уже положил трубку, раздались гудки. И свет в том окне погас.

Глава 22
Фантасмагория

Нобелевская премия в какой-то степени все перевернула, стали появляться какие-то странные люди, иначе, как сумасшедшими, их назвать нельзя. Даже ухитрялись проникать на дачу… Были выходки абсолютно безумные. Один предлагал роман зашифровать, другой утверждал, что видит сны, которые могли определить линию жизни Бориса Леонидовича. А кто-то даже стал называть его вождем.

Анекдотических историй было предостаточно, и они играли не последнюю роль для Бориса Леонидовича, и Ольга чувствовала, какой болью сердца все это ему доставалось.

Ну а внешне все было хорошо: хохотали, и со стороны можно было подумать, что все легко и ладно.

Из воспоминаний Ольги Всеволодовны.

«Наше тревожное и беспокойное настроение рассеивали ребята. Они под предводительством Ирки (мы ее стали называть «Тимур и ее команда») приезжали по вечерам к Б. Л., а ему так важно было знать: его по-прежнему любят и уважают, им восхищаются, гордятся».

«Когда молодежь приезжала, Б. Л. с удовольствием сидел с ними в кузьмичевской комнатке, разговаривал. А потом они все его провожали по тропинке между нашей изгородью и окном, через длинный мост над Измалковским озером, под старыми ветлами. Б. Л. был возбужден, много говорил, по-детски неприкрыто радовался, что его любят, и особенно привязался за это время к Ирине.

Как раз в те дни он подарил ей любительский киноаппарат, и она хоть и неумело, но сняла одну из таких прогулок. Осталось несколько кадров, на них Б.Л. такой живой, такой близкий, что трудно этот, к счастью, сохранившийся у нас «фильм», смотреть без слез».

Позднее эти кадры их семейного архива были использованы в документальном фильме О. Агишева.

Наступил момент, когда жизнь этой пары вошла в более спокойное русло, в маленьком домике в Переделкино Ольга и Борис Леонидович часто принимали многочисленных гостей и так называемых «друзей», среди которых были и завистники.

Бывало, приезжал Гейц Шеве, корреспондент западногерманской газеты «Ди Вельт», и Рената Швейцер: переполненная платонической любовью к писателю, она бросалась ему на шею, к чему Ольга относилась с пониманием, в отличие от самого Бориса Леонидовича, которому казалось, что Ольга страшно его ревнует.

Глава 23
Гонорары

История с «Доктором Живаго» имела продолжение и в виде незаконного в те годы получения гонорара. Ольга Всеволодовна рассказывала, как Москву посетили французские туристы и неожиданно для Бориса Леонидовича привезли на его дачу 20 000 рублей советскими деньгами. И он сразу же нашел Ольгу и передал ей часть этих денег, чтобы она смогла закрыть некоторые свои финансовые проблемы и вообще избавиться от постоянного безденежья.

Вслед за первым гонораром последовали новые порции денег.

Вот, что пишет об этих событиях Ольга Ивинская в своей книге «В плену у времени: годы с Борисом Пастернаком»:

«Последняя денежная эпопея произошла вскоре после смерти Б. Л. и была связана с туристами, супругами Бенедетти. Они пришли на Потаповский, и для объяснения с ними я вызвала из Переделкина знавшую французский Иру. Ехала она неохотно, будто предчувствуя беду.

Бенедетти передали мне письмо от Д'Анджело, издателя романа. Он уверял меня, что посылает лишь половину денег, которые он должен вернуть Пастернаку (полмиллиона советских рублей в старых деньгах). И злополучные туристы вынули из чемодана рюкзак с деньгами. Как ни умоляла я их забрать рюкзачок с собой – они не могли себе уяснить, что человек может отказаться от собственных денег.

– Вы не имеете права отказываться, – говорили они, – эти деньги вы должны израсходовать на достойный памятник Борису Пастернаку и на помощь тем людям, которым бы помог он сам; да и потом, это частный долг, и мы обещали Д'Анджело его обязательно доставить, что было для нас очень трудно.

И, откланявшись, супруги Бенедетти удалились. Я, Ира, Митя с ужасом смотрели на рюкзак…

После моего ареста к Мите явился приехавший по туристической путевке Д'Анджело. В руках его были две объемистых сумки. Не зная об их содержимом, Митя догадывался, что там опять могут быть деньги. Между тем наш с Ирой арест скрывался от мира, так что в квартире даже посадили женщину, чей голос был похож на Ирин, а Митю предупредили о необходимости соблюдать тайну (пообещав, что при этом условии нас отпустят). Но Митя оказался на высоте: он сумел сообщить

Д'Анджело о нашем аресте и выпроводить его с одной из сумок вон из квартиры. Когда вслед за этим сидевшие в засаде люди ворвались в комнату за оставленной сумкой – там оказались лишь приведшие их в ярость присланные Джульеттой нейлоновые юбки и помада. Позднее стало известно, что в унесенной сумке у Д'Анджело был остаток долга Пастернаку – вторые полмиллиона рублей… Подчеркиваю (это очень важно), во всех без исключения случаях деньги были советские; ни гроша в иностранной валюте мы и в глаза не видели.

– Ну вот, теперь мы пропали, – пророчески сказал наш Гейнц Шеве, когда на следующий день я рассказала ему о визите Бенедетти.

А все же, думалось нам, не могут же власть имущие не понимать, что на такой путь получения гонораров за «Живаго» они сами нас толкнули».

Бориса Леонидовича не стало 30 мая 1960 года.

«Шестнадцатого августа у нашей маленькой дачки стояли в ряд служебные машины КГБ. На двух дачах сразу начался обыск. Тут, я помню, объявился Митька, больше всего боявшийся, что передо мной откроются его мелкие шашни. Его задержали в магазине, где он на выпрошенную у меня «для дела» сотню купил две какие-то бутылки со спиртным. Митя сидел виноватый, потупив голову. А у меня замирало сердце от жалости к нему, от предчувствия разлуки. Вспоминались все перипетии, когда он еще малышом был свидетелем моих злоключений».

«Итак, обыск на даче подходил к концу, и меня повезли в город, на Лубянку. Последний раз я на легковой машине ехала по Москве, зажатая, правда, по бокам двумя «товарищами» в штатском. Улицы пестрели цветами, был августовский день цветов».

После смерти Бориса Пастернака, в том же 1960 году, Ольга Ивинская и ее дочь Ирина были арестованы по обвинению в контрабанде и незаконных валютных операциях. В то время власти ничего лучше «пришить» не смогли… Ольгу Ивинскую приговорили к восьми годам лагерей. Она вернулась в Москву четыре года спустя. Ирину освободили раньше. В 1988 году оба эти случая при участии Ольги Ивинской были рассмотрены апелляционным судом. Оба приговора были признаны несправедливыми и необоснованными. Для оправданных это не

стало особой неожиданностью, во время «горбачевской гласности» власть за многое извинялась… Конечно же, Ольга Всеволодовна, Ира и Митя радовались реабилитации, но без «фанфар».

И тогда, сразу же, началась их борьба с КГБ за архивы Бориса Леонидовича, изъятые у Ольги при аресте еще в 1960 году. Я и сам хорошо помню, как Митя и Ольга Всеволодовна мотались по инстанциям, чиновникам, судам – какие пороги они только не обивали…

Глава 24
Постскриптум от Ольги

Мама умерла в начале лета. Хоронили ее на одном из подмосковных кладбищ, которые так тесны, что не идут ни в какое сравнение даже с московскими жилищами. Металлические ограды, раскрашенные алюминиевым серебром или же яркой до невозможности голубой краской. Люди, шедшие за гробом, скользили по тяжелой, не просохшей после дождя глине, совершая чудеса «слалома», чтобы проникнуть в эту чашу захоронений и встать над свежевырытой ямой.

Держа под руки, меня затащили на холмик, я наклонилась и бросила в отверстие тяжелый слипшийся комок.

Гробовщики, как взмыленные скакуны, бросились засыпать гроб. Я почувствовала внезапную слабость, и, чтобы никого не всполошить, стала понемножку выбираться из толпы. Я вышла на аллейку и ускорила шаг. На развилке тропок что-то меня остановило, я задержалась.

На этой стороне кладбища царила тишина, поэтому я разобрала равномерно повторяющийся шепелявый звук. Я сделала несколько шагов вперед, а дальше уж само собой пошло: поворот, еще один холмик, и вот могила Бориса Леонидовича, камень с профилем. Рядом – еще два камня: поближе – Зинаиды Николаевны, а дальше, на смиренном отшибе, крохотная плитка с именем Евгении Владимировны, первой жены.

Тем временем шамкающий звук приблизился, и я увидела кладбищенского работника, косившего траву. Мне стало не по себе, и я пошла к воротам.

Неподалеку от ворот была аптека для таких слабонервных, как я. Располагалась она в плоском павильончике с большой витриной и фотопортретом Брежнева посередине.

– Сердечных капель, пожалуйста.

– Сначала – в кассу, – сухо ответила аптекарша.

В кассе за стеклянной перегородочкой сидела седая, на моржа похожая тетенька и вертела свою финансовую «мельницу». Я положила мелочь на тарелочку.

– Добрый день, Ольга Всеволодовна, – поприветствовала она меня.

Я же не могла припомнить эту моржиху, что по выражению моего лица было заметно.

– Встречались когда-то?..

Кассирша с немым упреком протянула мне бумажный талончик. Выйдя на улицу, я заметила за витриной некоторые движения. Кассирша выползла из своего стеклянного теремка и, созвав двух аптекарш, что-то оживленно объясняла, показывая на меня пальцем. Я узнала ее по росту и по некоторым жестам. Батюшки, это ведь была та самая надзирательница из моей первой тюрьмы!

В город возвращались на автомашинах. Мимо окон неслись подмосковные перелески, жалкие гнилые хижины, столбы… Что-то вспомнилось и снова угасло…

Меня с дочерью и внуками подвозил один очень давний знакомый по фамилии Ривин.

– Я вам очень признательна: и о смерти мамы узнали, и не поленились присутствовать на похоронах. Виделись-то мы в последний раз четверть века тому назад, – благодарила я его.

– А если бы вы знали, как я вас уважаю за то, что вы спасли из лагеря свою маму, – в свою очередь признавался Ривин.

Немного странным показалось это замечание: ему-то что? Первыми у дома высадились внуки, потом – моя дочь. И здесь Ривин попросил меня на минуту задержаться.

Перед тем как заговорить, он долго собирался с мыслями.

– Ваша матушка была арестована по доносу. Это ведь я, Ольга Всеволодовна, написал тогда заявление на вашу маму.

– А я это знала.

– Откуда вдруг?

– Мама рассказывала, что вы ей явились во сне и признались.

– Но ведь это только сон!

– Она свято верила снам. И, между прочим, все ждала, что вы придете да покаетесь перед ней… А я-то вам кто, лицо духовное что ли?

– Я это сделал из любви к вам. Помните, в тот вечер взрывали храм Христа Спасителя? Я вам сказал: в случае несчастья обращайтесь ко мне. Вы потом с Сашкой завертелись, меня позабыли… А я бы тогда мог ее вызволить, – оправдывался Ривин.

– Ладно, помолюсь за вас.

Он уехал, а я, как и обещала, направилась в церквушку за ближним углом.

– А чего – в неположенный час? – спросила меня уборщица, хотя я и порог храма еще не переступила.

Женщина отмывала каменный пол и по-своему была права. Стоило ли мешать ей работать? Я и пошла домой. Не повезло

Ривину – так за него и не помолилась.

Через год или два, когда в мире появились эти волшебные аппараты видео, в двадцатипятилетие со дня Бориной смерти, дети решили мне устроить просмотр картины Дейвида Лина.

Сначала было много суеты: расставляли диковинные ящики, соединяли и разъединяли какие-то провода, накрывали столы. А чтобы просмотр получился не просто так, а с пользой, появился и корреспондент заморский с видеокамерой на плече.

«Завели» картину, я и смотрю: то Джули Кристи мелькнет, то Омар Шариф, то вот уж обнимаются… А журналист с камерой снимает, как я гляжу.

– Узнаете себя? – поинтересовался он.

– Это было давно и неправда, – ответила я.

– Говорят, что интрига с романом «Доктор Живаго» была косвенно направлена против Хрущева…

Я подумала, какой же смешной этот корреспондент, молоденький, акцент такой причудливый у него, птичий…

– Кто такой этот Хрущев?

– В общих чертах могу пояснить.

– Роман «Доктор Живаго» читали?

– Честно говоря, нет. Кстати, очень своевременный вопрос. Не могли бы вы сжато мне пояснить, о чем этот роман?

– В двух словах?

– Да, да, не более чем в двух.

– Молодой человек из богатой семьи, образованный, способный… женится на дочери своего дворника, и у них появляются дети.

– Потрясающе! А вот еще один вопрос: почему многие мемуаристы пишут о вас нелестно?

– На моем месте, они, конечно, повели бы себя гораздо лучше.

– Вы сначала отбыли четыре года лагерей, а после смерти Бориса Пастернака власти вас снова осудили на четыре года…

– На восемь лет, – поправила я.

– … Сейчас вы реабилитированы… Выходит, загублены восемь лет вашей жизни. Ни за что, ни про что?

– Я так не думаю. За любовь надо платить или… или, как там у вас…

– О, да!

Последний свой вопрос он уже задавал по пути к обеденному столу, накрытому под цветущей яблоней и грозовым небом.

Там ели да пили, позабыв о фильме, который продолжал тем

временем мелькать. Кажется, только я в ту сторону пару раз взглянула.

Боря, мой больной любимый внук, написал специально к этому дню пьесу для представления под открытым небом. Он сам отгородил простынями угол за сараем, обставил сцену чердачной рухлядью и стал раздавать собравшимся листочки с текстом. Всем достались роли, даже попугаю… И, поскольку для журналиста ничего не было заготовлено, он, естественно, становился единственным зрителем.

Мы, участники этого спектакля, сбились в тесный угол. Боря задернул занавес и выступил на авансцену.

– Пьеса «Борцы за светлую жизнь», – громко объявил Боря. – В роли молчаливого комиссара выступает попугай Проша! Он будет наблюдать и делать выводы. Первая сцена: белый офицер допрашивает красногвардейца Дермина.

Нарисовав усы карандашом для бровей, я выступала в роли белого офицера. Красногвардеец Дермин – мой сын Митя в потертой милицейской фуражке.

– Кто тебя сюда послал? Где красные? Отвечай! – грозно кричит белый офицер.

– Я не должен говорить, не должен выдавать своих товарищей! – смело парирует Митя.

– Ты хочешь погибнуть?

– Я готов погибнуть ради свободы!

– Увести!

И его уводят под матерую ругань попугая Проши. Очень кстати, потому что надвигается ливень, и все бросаются спешно сворачивать бал.

Я тяжело поднимаюсь к себе наверх…

Диван, стол, стул, зеркало… Меня окружают стены бревенчатого подмосковного домика, за окном – вой пригородных поездов, где-то жужжит радио. Мерно тикает маятник, но засыпать страшно – а что, если проснешься на лагерных нарах?

И что же я, мой Боже, делаю. Я зажигаю свечу и ставлю ее перед зеркалом, а сама облокачиваюсь на стол и напряженно вглядываюсь в свое отражение. До тех пор всматриваюсь, пока за моей спиной не возникают они – мои мужья, первый, вслед ему – второй. Я в застиранной ночной рубашке, со взлохмаченными на макушке седыми волосами, а они молодые, как в тот день, когда умерли.

Я жмурюсь, а когда открываю глаза, их уже нет.

Я ложусь спать. Извилистые струи дождя растекаются по стеклам, мерцают, снова сливаются. Понемногу я засыпаю под

доносящуюся снизу музыку.

Меня будит постукивание в радиаторы отопления.

Ночь сплошная, а от проливного этого дождя темно вдвойне, но я знаю, что означает это постукивание снизу: мне звонят, и соседи вызывают к телефону. Я срываюсь с постели и бегу к лестнице.

А там, внизу, меня уже дожидаются. Двери приоткрыты, слышна музыка, в прихожей полно плащей и зонтов, а дальше, в столовой комнате, тьма гостей, и я вижу, что меня пригласили на свадьбу. Когда-то я уже была в этой квартире на свадьбе, но тогдашние молодожены уже старенькие, а выдают – свою дочку. Вот так и жизнь пролетела.

Меня усаживают в отведенное для меня место. Веселье в самом разгаре. Играют какое-то вечное танго, прелюдию всех брачных ночей. Одни танцуют, другие пьют и на меня, к счастью, не обращают ни малейшего внимания.

Не видят они и еще одного гостя, который сидит напротив меня. А я его узнаю.

Странно, мне никогда не снился Борис Леонидович, а тут вдруг заявился…

– Что ты появился, когда я совсем уже стара, а ты даже как бы моложе? Срам какой-то!

– Разве не помнишь, мы всегда мечтали вместе состариться? – отвечает он мне.

– Ты мечтал, но не я.

– Я так ждал этой встречи!..

– Наверное, что-то придумал и сейчас мне объявишь?

– Помнишь, когда-то ты молилась в полуразрушенной церквушке, потом ее и вовсе снесли, а ты и молитву свою позабыла, но вот стало так, как ты хотела: люди смотрят снизу и завидуют нам.

Он вывел меня на балкон, который оказался выше над землей, чем я себе представляла. И дождь был такой, как будто Москву нашу матушку залило водами всех шести морей.

В водах этих возникали и исчезали люди. Но одного из них я, кажется, опознала. Он стоял внизу, под балконом, задрав голову, и всматривался в нас.

И он меня узнал и помахал мне рукой.

Это был тот самый доблестный офицерик Юра, что в одну из наших первых с Борей встреч пригласил нас на ужин, а сам быстро убежал и больше не вернулся.

Послесловие

В их доме, в маленькой квартирке на Вятской улице, вместе с Митей и Ольгой Всеволодовной жила девушка Лена. Светловолосая, с большими глазами, по-моему, она даже внешне напоминала Ольгу Всеволодовну в юности. Ее называли нежно – племянницей, так я и считал, особенно не задумываясь, кто кому из них кем приходится. Правда, было заметно, что с Митей отношения у них совсем не родственные, скорее, романтичные или даже любовные. И, хотя они это никак не афишировали, появляясь вместе «в обществе», в их взглядах, разговорах между собой чувствовалось то самое электричество. Но я об этом не думал – племянница и племянница… Лена была очень молоденькая.

Как они уживались в крохотной квартирке – непонятно. Стандартные 18 метров почти полностью были заставлены мебелью, а посредине единственной комнаты царил рояль. Под ним ставилась раскладушка остающимся ночевать. И постоянно друзья и гости, гости и друзья.

Ольга Всеволодовна относилась к Лене совершенно по-родственному: было видно, что они понимают друг друга и между ними есть какие-то очень радостные и близкие отношения, так что сначала я не сомневался в их кровном родстве. Как потом выяснилось, племянницей Лена приходилась только Юрию Соловьеву, удивительному музыканту, композитору, ближайшему и давнему другу этой необычной семьи. И тогда у меня снова появились мысли об иной, не родственной связи Мити и Лены.

Ольга Всеволодовна и Митя приобщили ее к своему общему труду – стихотворному переводу. Ольга Всеволодовна занималась переводами давно, начинала еще вместе с Борисом Леонидовичем, Митя, очень талантливый, по всему своему складу – поэт, тоже освоил ремесло перевода, в то время достаточно прибыльное, если иметь заказы, дело. Хотя у него и своих стихов было немало. На одно из его ранних стихотворений я даже написал песню:

Как сталь асфальт, колокола,
Грачи и куличи.
И блеск ветвей, и всплеск крыла…
И воздух синь и чист.
И удаленье зимних рам,
И дождь прошел не зря.
Продажа свеч у входа в храм,

У входа – шум, но тихо там,
Внутри, у алтаря.
А в полночь выйдет крестный ход
При колебаньи свеч,
И перекрестится народ,
И крест качнется и замрет,
И всюду стихнет речь.
И капли упадут с берез
Потоком слез на крест.
Не надо слез – побольше звезд,
Ведь в эту ночь ВОСКРЕС ХРИСТОС,
Воистину воскрес.

Моя песня ему очень нравилась, хотя он и повторял с иронией: «Толя, не забывай, музыка – это род шума».

А вот еще его стихи, которые оказались в моем архиве.

Выстрел
Ты подросла. Ты в платье длинном
Стоишь в разросшемся саду,
Слышна акациям, рябинам,
У пруда с небом на виду.

Кто подарил тебя – мишенью —
Заборам, стеклам парника,
Кто дал стрелкам короткошеим
Искать на уровне виска?

Еще вдали твои премьеры,
Еще не сведены мосты,
Еще партеры и галеры
И роддома твои пусты.

Еще над тендером не виснет
Необъяснимая звезда,
Еще не время, чтоб на выстрел
К тебе приблизилась беда.

Кто мушкам четкость дал такую?
Прицелы ставил не простак…
Кукушка дальняя кукует
Впустую, вяло, просто так.

Мишень – мишень, она открыта,

Смешна прикрытая мишень,
И разве в том ее защита,
Что тих да благ погожий день?

Рванулся полдень за ограду,
Спеша покинуть полигон…
Как приз, осталось эхо саду —
Стрелок по праву награжден.

Кому они посвящены? Сказать трудно. У него было несколько романов с достаточно известными актрисами… Но – чем черт не шутит – может быть даже и Лене. Митя знал ее с самого юного возраста.

«Племянница», как мне казалось, всегда с любопытством относилась к моим музыкально-авторским сочинительствам. Она, пожалуй, как бы поддерживала меня в этом доме, который «жил стихом», литературой, где запросто обменивались строками и цитатами, а ей все это было и близко, и дорого, и интересно.

После Митиной смерти я периодически встречался с Леной. У нас давно сложились свои отношения и понимание, и интерес к общим литературным идеям. Она читала мои стихи, помогала поправить что-то, была у нас даже мыслишка написать сценарий по той пьесе «Кафе поэтов», в которой, кстати, Лена принимала участие и вдохновляла нас.

Позднее, уже в другой квартире Лены, ее собственной, что на Красных Воротах, когда мы как-то раз немного выпивали, закусывая картошкой и еще необыкновенно вкусной соленой капустой, я, держа за пазухой вопрос об ее странном и непонятном для меня романе с Митей, наконец решился расспросить ее об этом.

Тогда Лена поведала мне свою историю, связанную с этим домом. Началась она очень давно, когда Ольга Всеволодовна только освободилась из лагеря. Тогда же она познакомилась и навсегда подружилась с Юрием Соловьевым.

Дружба ее самой и ее матери, Марии Николаевны, с Юрием была такой близкой, что они даже тщательно искали, вспоминая своих ушедших в мир иной родственников, кровные узы, и оказалось – что-то даже нашли, но кого именно – Лена не помнит. Она рассказала, что саму Ольгу Всеволодовну знает лет с четырех, с подаренной ею кудрявой немецкой куклы, которая до сих пор где-то у нее хранится, что Ольга Всеволодовна бывала в их доме на Котельнической набережной, у бабушки и мамы. Помнит, как все вместе они ездили к Юре на станцию Лось, где

он снимал домик после развода с женой. Тогда это было еще полудачное место. В этом домике, где, к слову сказать, тоже главное место занимал рояль, у дяди подолгу гостила Мария Николаевна, подчас жила там и Ольга Всеволодовна, туда же к ним приезжали разные гости, известные теперь люди, в том числе, Юлий Даниэль, диссидент, прозаик, поэт и переводчик. Ольга Всеволодовна потом вспоминала, как больно поразило Юру известие об аресте Даниэля, которое она привезла в Лось.

– Впрочем, – рассказала Лена, – это все детские воспоминания, сюда же я отнесу мои не слишком частые визиты к Ольге Всеволодовне на Вятскую улицу в отрочестве и ранней юности. Конечно, я всегда знала ее историю с Борисом Леонидовичем, а то, что знаешь с детства, прочно входит в кровь. А вместе мы стали жить, когда не стало моей мамы, и как-то так сложилось, что я пришла в этот дом с дядей, и то, как и с каким лицом буквально бросилась мне навстречу Ольга Всеволодовна и обняла меня, и приняла, определило дальнейшие несколько лет моей жизни.

С Митей же – совершенно отдельная история. С ним она познакомилась, то есть увидела его впервые, тоже в детстве, когда ей было 9 лет. Из обстоятельств этой встречи она фотографически точно запомнила один-два фрагмента и его самого.

– Он тогда, наверное, поразил мое детское воображение, и больше я его не забывала. Расспрашивала о нем дядю и сама с собой немного думала о нем, фантазируя. Но это, конечно, ничего не значило в моей детской жизни, взрослении и любовных историях. Просто помнила. И, по-видимому, точно, хотя к этому не было никаких предпосылок, знала в глубине сознания, не формулируя, что у нас есть история, она уже есть, идет, и время ее реалий назначено. Так и оказалось, но вот что меня поразило, и о чем я не догадывалась – это то, что и я в свои 9 лет поразила его мужское воображение, и то, что он, взрослый, тогда же это понял, и сказал себе. Это Митя рассказал мне в нашу последнюю встречу, встречу-прощание уже через годы после разлуки, когда он призвал меня к себе незадолго до своего ухода. Как он мог это скрывать в то время, когда мы были вместе, для меня загадка… Есть такие поступки, случаются они у настоящих мужчин, которые женщины отказываются понимать и принимать, хотя, возможно, в этих, до обидного нелепых, поступках непостижимая мужская суть и кроется. И многое еще он тогда мне сказал – то, что я была бы счастлива услышать вовремя…

– Когда мы стали жить вместе, я еще почти год

сопротивлялась очевидности нашей истории, как-то меня не то чтобы смущала разница в нашем возрасте, скорее, дразнил и заставлял хорохориться его безусловный успех у женщин. Я была юна и глупа и только глубоко интуитивно знала про несомненность и особость нашей любви. Интуиции же мы не всегда верим.

– А когда я перестала сопротивляться тому, что предчувствовала с детства, началась неправильная, но счастливая и временами довольно жестокая жизнь. Кончилось драматически, но внутренне мы не отпускали друг друга до конца, до его конца. Мити нет, но он и теперь со мной, несмотря на годы и события самые важные.

– С Ольгой же Всеволодовной нас связывали совершенно отдельные свои отношения. Я ее очень любила и чувствовала, что это было взаимно. Она все мне рассказывала, а я никогда ничего не записывала, хотя получала неоднократно такие советы с разных сторон, и они были верные, но я не могла им следовать. Это была живая жизнь, повседневность, и прошлое, которое она вспоминала, тоже было частью нашей повседневности.

– В наши с Митей отношения она не вмешивалась, она вообще давала жить своим детям, как они хотят. Конечно и потому, что у нее была своя собственная жизнь, и потому что у нее был такой характер – легкий, счастливый. Артистичный. Она очень любила жизнь, эта ее размашистость жизнелюбия страшно притягивала, вокруг нее всегда были люди, телефон не умолкал, двери не закрывались. Что до нас, она, повторю, не вмешивалась, только раз, по-моему, сказала мне – он тебя любит, кажется, на мою какую-то дурацкую детскую попытку обиды. Наблюдала она за нами, думаю, снисходительно и ласково. Она, как никто, любила жизнь всякую: ей нравилась игра, интрига, нравилось, когда мной увлекался кто-то еще, может быть, это покажется необъяснимым по отношению к своему обожаемому сыну, но было так.

Будучи в доме частым гостем, я заметил очень близкие и доверительные отношения Лены и Ольги Всеволодовны. Подспудно я чувствовал, что у них какая-то своя женская, закрытая даже от близких, компания. Конечно, думал я, наверняка Ольга Всеволодовна что-то рассказывала ей о своих отношениях с мужчинами, что-то о тех, про кого мы не знали, и теперь не узнаем никогда.

Валера Нисанов, а он – надо сказать – всегда восхищался Ольгой Всеволодовной и обожал ее, как-то раз упомянул в связи с ней имя Александра Галича. Я выбрал подходящий момент и

спросил об этом Митю… Митя, возможно, уже знал от Валеры, что я любопытствовал, и когда я заговорил, он переменился, в лице пропало благодушие, и довольно сурово сказал мне: «Толя, при мне больше эту пластинку не заводи».

Почему такая реакция, подумал я, кого он хочет защитить и от чего? Может быть, дело в том, что с пяти лет Митя видел в доме только Бориса Леонидовича? Только его и никого другого не мог даже мысленно связывать с именем матери…

Галич к тому времени давно погиб, стихи его, запрещенные, стали открыты. Саму Ольгу Всеволодовну спросить я не решился, о чем теперь жалею. Она бы не рассердилась, я уверен.

Когда я стал заниматься романом, то вспомнил и этот разговор с Митей, и слова нашего друга фотографа, вспомнил саму Ольгу Всеволодовну, ее обаяние, необыкновенный шарм, ее фантастическую женственность и красоту, ее гипнотическую влекущую силу, ее голос, речь, улыбку – все это соединилось, и я понял, что она могла быть, и, наверное, была музой не одного поэта.

Тогда я решил расспросить Лену. Вот что она вспомнила.

Галич у них возникал в основном в старых магнитофонных кассетах и бобинах.

– Ленка, поставь «Моцарта», «Облака», «Засыпая и просыпаясь», – Ольга Всеволодовна одну за другой называет песни, стихи.

Лена ставит, она уже отлично знает эти кассеты, легко ориентируется в их нагромождении и находит нужное.

– Поставь «Юнкеров».

Ставит «Юнкеров»…

– Давай еще раз послушаем.

… А ты, до беспамятства рада,
У Иверской купишь цветы,
Сидельцев Охотного ряда
Поздравишь с победою ты.

Ты скажешь: «Пахнуло озоном,
Трудящимся дали права!»
И город малиновым звоном
Ответит на эти слова…

Лена уже знает все это наизусть.

– Ах, как я сердилась на него за эти строчки, да что ж это

такое! До беспамятства рада! Ну вот, что он думал?.. – говорит всякий раз Ольга Всеволодовна в этом месте.

– А я, – вспоминает Лена, – думаю: но ведь это и вправду она, это про нее, это ее великая беззаботность, ее вдохновенная опрометчивость, захватывающая легкость. «…Пахнуло озоном» – конечно, она могла бы так сказать, это ее интонация, в этих стихах я слышу даже ритм ее походки, я на самом деле вижу, как она покупает цветы у Иверской.

Это стихотворение Галич посвятил Юрию Живаго, так в книгах, что теперь все изданы, и в интернете – «Смерть Юнкеров, или Памяти Юрия Живаго». Под заголовком еще посвящение: «Ольге Ивинской».

Он чувствовал, знал ее, любил. Но как? Он, конечно, знал ее прежде, до личной встречи, знал Лару, музу поэта, он посвящал Пастернаку стихи. И встретились они не случайно.

* * *

Приступая к работе над романом, я постарался вспомнить всех тех людей и персонажей, которые как-то – прямо или косвенно – соприкасались с Ольгой Всеволодовной и с ее домом. И я вспомнил еще про одного «деятеля от литературы», как он сам себя называл. Мне хотелось бы немного рассказать о нем и о том, как он оказался в этом почетном списке.

В конце 80-х, когда я работал в «Драматическом Театре Станиславского», мне позвонил какой-то молодой, но уже хрипловатый голос. Этот голос представился Димой. Он сказал, что знает про меня давно, что в курсе нашей с Митей соавторской артели по написанию пьесы и сценария и очень бы хотел со мной пересечься. Он обозначил себя приемным сыном Мити, и я сразу же догадался, кому же принадлежит этот хриплый голос.

– Вы, наверное, сын Стеллы?

– Именно!

Стелла, а кое для кого Стелла Петровна, была достаточно известна в кругах московской богемы тех лет. Она заведовала одним их самых популярных питейных заведений в Доме Кино: ее бар располагался внизу, под зрительным залом.

Так как в Дом Кино попадали только избранные, то и в этом баре, можно сказать, восседали лучшие люди того славного «застойного» периода. В основном завсегдатаями был круг единомышленников, и это, конечно, были неординарные

личности – не вспомнить этих людей я просто не имею права.

Начать хочу с Беллы Ахмадулиной и Бориса Мессерера, которые были душой той удивительной компании. Хочу отметить, что позднее, прочитав воспоминания Беллы о ее встрече Пастернаком, я нашел там же посвящение ему стихи.

Метель
Февраль – любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,
великим севером природы
очнулась скудость дачных мест.

И улица в четыре дома,
открыв длину и ширину,
берет себе непринужденно
весь снег вселенной, всю луну.

Как сильно вьюжит! Не иначе —
метель посвящена тому,
кто эти дерева и дачи
так близко принимал к уму.

Ручья невзрачное теченье,
сосну, понурившую ствол,
в иное он вовлек значенье
и в драгоценность перевел.

Не потому ль, в красе и тайне,
пространство, загрустив о нем,
той речи бред и бормотанье
имеет в голосе своем.

И в снегопаде, долго бывшем,
вдруг, на мгновенье, прервалась
меж домом тем и тем кладбищем
печали пристальная связь.

Меня это зацепило. Я долго думал об этих строчках, как-то засели они в моей голове, и вот я написал музыку. Получилась, как говорили свидетели, неплохая баллада. К сожалению, в то время я ее так и не записал. Мы тогда гастролировали с нашей группой по деревням и весям, ее исполнял очень хороший интересный солист, Толя Щербаков. Позже он перепрыгнул через бугор.

Но вернемся к нашей компании.

Толя Ромашин – Царь Николай II в «Агонии», великом фильме Элема Климова о Григории Распутине. Влад Дворжецкий – знаменитый атаман Хлудов в не менее великой экранизации А. Алова и В. Наумова по роману М. Булгакова «Бег». Вадим Мильштейн, персона особая… Он дружил со всей актерской элитой, хотя в то время занимался совсем другим: официально налаживал международные контакты. И конечно же, он был одним из самых уважаемых людей нашего домкиношного круга, к которому мне, еще юному музыкантишке, удалось примкнуть, как бы сбоку припеку. Близкий друг Вадима, Леша Стычкин, самый знаковый синхронный переводчик. Это он мог себе позволить на даче Брежнева (и на дачах членов ЦК) переводить американское кино в подлиннике: вот, например, слово «fuck» и все остальные словообразования, никак не заменялись, а звучали из его уст по-русски и с той же самой интонацией, и в том же смысле, в котором они произносились в фильме. Это и Валя Смирницкий, потрясающий актер, и Сережа Богословкий, о котором я вам уже рассказал, и красавец Боря Хмельницкий, Робин Гуд в одноименном фильме, один из ведущих артистов Театра на Таганке… и даже иногда совсем «на коротко» забегал Володя Высоцкий. И забегал, наверное, не зря. Их знакомство со Стеллой произошло еще в конце 60-х. Володя со своим другом Давидом приехали на так называемую «экскурсию» в Таллин. Они попытались заселиться в гостиницу, но – как всегда в то время – даже при наличии свободных мест номеров не оказалось. И Володя с другом, как говорится, с горя, отправились прямиком в гостиничный бар. Надо было обдумать план дальнейших действий… Куда – зачем – и почему? И вот, за стойкой – молодая очаровательная барменша. Она узнает в одном из посетителей самого Высоцкого. В то великое время бармены, служа в крутых отелях, обладали неограниченными возможностями. И, благодаря ее стараниям, Володя решил все свои вопросы, связанные с заселением. Эта барменша, конечно же, звалась Стеллой. И мне даже кажется, что ее знакомство с Митей произошло именно с Володиной подачи.

Надо сказать, что в Доме кино, рядом с баром, справа, находилась биллиардная, где собирались не только люди, служившие в кинематографе, но и бывшие «каталы», зубные врачи, собиратели антиквариата, в биллиард поигрывали даже люди с «Петровки»… И конечно же, вокруг толпились простые «болельщики», в числе которых бывал и я. В общем, контингент очень разный. Но главное – в этой биллиардной стояла этакая

светская атмосфера, и люди легко общались между собой, и можно было запросто поговорить с такими людьми, как тот же Боря Хмельницкий (который, кстати говоря, считался одним из самых крутых игроков на биллиарде, сродни профессионалам), или, например, Коля Волшанинов – популярный артист театра «Ромэн», которого – в отличие от его коллег – можно было легко встретить во всяких наших ВТО, «домжурах», «цдлах» и т. д.

Вторая категория гостей была иной: это те, кто не мог себе позволить дороговатый коньячок, в связи с чем довольствовался кофе, сочком и бутербродиком с колбасой или сыром. На икорку они старались не зариться, но… Здесь я хочу сказать, что Стелла, а именно для них – Стелла Петровна – была не похожа на красивых барышень, близких ей по типажу, с которыми мне довелось тогда пересекаться. За ее внешностью стояло нечто большее… Смугловатое ее лицо буквально светилось в полумраке этого бара, где она была абсолютной и бесспорной хозяйкой. Мне кажется, что и первую, и вторую категорию «прихожан» в особенности притягивали ее глаза, которые молниеносно и контрастно отражали перемены ее живого настроения.

И конечно же, я ее помню отчетливо и трезво. Помню, многие навязывались ей в ухажеры: имена перечислять не буду, скажу только, что фаворитом числился у нее Митечка.

И вот я в квартире этого самого хриплого. Передо мной странный субъект, возраст которого сразу определить трудно, чрезмерно живой, но, как оказалось, вполне сносный собеседник. Внешность его напоминала этакого не до конца сформировавшегося черта, не набравшего еще положенной доли желчи, коварства и сволочизма.

Этот чертик поведал мне, что Митечку он считает чуть ли не своим вторым отцом, а о первом, настоящем, особо не распространялся. Из его рассказа я помню, что он вроде бы учился в Литинституте, якобы даже закончил его, потом два года лечил нервы… Но главное – именно влияние семьи Ольги Всеволодовны спровоцировало его на путь «писательства». Для меня это было ново, я попросил прочесть что-то из его творений, и он выдал… Вот кое-что из его «стихосложений».

СКИДОЧКИ

Живешь ты прихлебаючи и солнечНО.
Притормози и розовые скинь очки!
Ведь если ты по жизни гандон и чмо —
не будет на том свете тебе скидочки.

* * *

Когда Ты была Любимой —
любимей любимых прочих,
Атоса я был крахмальней,
нежнее, чем Арамис.
Я видел свою Судьбу, как
поспешный и жирный прочерк
в подлунной библиотеке
Твоих золотых страниц.

* * *

Когда ты была Любимой —
до дрожи, до тла, до корчи,
платеж был – какой там Гамбург! —
ходила в карат слеза!
Когда Ты была Любимой,
я вывелся, не докончив:
«Я завтра еще не умер,
мы встретимся после за…

* * *

…что чтой-то сдвинулось в евгенике
землятрясенья наподобие,
что ни хера, Чернусь, не гений ты,
и волчий хуй тебе от Нобеля…

Тем не менее, учеба в литературном вузе имени главного пролетарского писателя Горького давалась ему нелегко. И надо сказать «спасибо» Ольге Всеволодовне, что он не вылетел из этого института еще на первом курсе. Она неоднократно выручала его перед экзаменом, выправляя его «желторотую писанину», которую коротко можно обозначить так: что на уме – то и на языке.

Так случилось, что знаменитая дача в Луговой после смерти Ольги Всеволодовны была выкуплена именно Стеллой, за чисто символическую сумму. И Чернусь, уже попробовавший себя в качестве барда, проживает там и по сей день. Если собираются

друзья-товарищи, он не упускает момента и возможности намекнуть, что дом этот – непростой, и люди здесь бывали – знаковые…

Так вот, когда я задумал роман – вспомнил обрывки разнообразных эпизодов, где Чернусь хвастал веселыми деньками юности, прогулянными им в Луговой. В какой-то момент я подтолкнул его к написанию рассказа и про дачу, и про те самые деньки. Подтолкнул – и забыл, а как подошло время, пришлось надавить, чтобы он все-таки что-нибудь изложил.

И вот перед вами зарисовки, написанные в той излюбленной стилистике, которую он считает своим собственным изобретением, подредактированные мною совсем немного.

«Летом 74-го года моя мама, Чернусь Стелла Пет-ров-на, была безудержно влюблена в Дмитрия Алексан-д-ро-вича Виноградова, сына Ольги Всеволодовны Ивинской. Это стоило того – неронообразный *(не пугайтесь, это образец того самого стиля)* Митечка, брутальный и античный, и мама моя – хрупкая, нежная и влекущая. Это была одна из самых значимых пар в светской жизни столицы – дамы завидовали маме, кавалеры – Митечке… И вот, спустя год гражданского брака решили мои тогдашние родители справить это вопиющее событие поездкой куда бы то ни было. Честь принимать столь звездную пару выпала Таллинну с окрестностями. Но мальчику (типо я) должен быть уход и пропитание. Выход был найден неподалеку. Митечкин ротный старшина по паспортным данным – Чубуков Александр Батькович, подпольная кличка – Шурок, был рекрутирован вышеозначенной парой на предмет побыть Савельичем при Петруше на время вкушения плодов неземных. Шурку были выданы средства в кол-ве 150 р. на две недели отсутствия на тот момент неразделимой пары в составе Стелла-Митечка, не утерявшей сумасшедшей любви, что являлось опровержением уравнения: ОДНА ПАРА + ОДИН ГОД = РАЗЛУКА БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ И СОЖАЛЕНИЙ!»

«Я, к тому времени, бесславный ублюжонок неполных 16-ти лет, будущий клиент ДКМ (детская комната милиции) скентовался со всей луговской урлой вот на какой предмет: Ольга Всеволодовна бесподобно курила. Курила она SALEM-120. Но как!!! Делала 3–4 затяжки и гасила. И так в день уговаривала до половины блока! Я собирал бычки, ростом с вполне себе сигарету, засовывал в пачку и угощал урлу… Ольга Всеволодовна, не стесненная в то лето в средствах (вышла книга ее переводов ирано-таджикской поэзии в издательстве «ВСЕМИРНАЯ

ЛИТЕРАТУРА» в расчете 2 рубля за строчку). Так я попал под щедростный и благодатный дождь благодеяний этой невероятной Женщины!»

Каждое утро Ольга Всеволодовна снабжала Чернуся тремя рублями, приговаривая:

– Сирота, – такое у Чернуся образовалось прозвище, – купи себе чего-нибудь.

А между тем, она не забывала кормить его обедом и даже ужином, так что он жил при ней, как у Христа за пазухой.

Вот еще его рассказ об одном эпизоде из их дачной жизни:

«Однажды к вечеру Ольга Всеволодовна протягивает мне червонец и говорит: “Сирота, съезди завтра в Лобню, там клубника ранняя по 2 рубля 50 копеек за килограмм, возьми 4 кило, будем варенье варить. И вот тебе рубль на дорогу”. Мои лобнинские друганы сказали, что клубнику можно сторговать и по 2 рубля. Соответственно, оставалось еще на две бутылки винища «Солнцедар». Наши неокрепшие организмы приняли это пойло – и востребовали извечное русское ЕЩЕ. Порешили, что клубничку можно бы просто и «насобирать», посетив нашей делегацией чужой огород. В итоге, килограммов 40 мы «скомуниздили» точно и на рассвете пьяные и радостные поволокли добычу по адресу Луговая, ул. Парковая, 17. Таким образом, первое и, надеюсь, последнее мое участие в краже имущества, совершенного в составе группы лиц, обернулось полным и оглушительным фиаско».

Ольга же Всеволодовна сразу обо всем догадалась. Слегка пожурив «Чернуся и ко», аккуратно выведала местонахождение той плантации и заплатила владельцу, известному в округе как «клубничный король» Петрович, 50 рублей к взаимному удовлетворению сторон!

«Позднее Ольга Всеволодовна прилюдно подкалывала меня, припоминая эту историю: все бы так воровали, как Сирота!»

И вот еще одна история, которая хранилась в памяти этого хрипловатого. Он ее мне так и не написал – пришлось опять надавить…

«В то же самое лето приезжал какой-то одутловатый дядька с гитарой и фатоватыми усиками. Приезжали его послушать

человек 30–40, кто на машинах, кто на электричках. Смотрели на него, как на божество. Дядька барственно выпивал рюмочку водочки, которую ему подносила восторженная Ольга Всеволодовна, барственно-старорежимно, как будто делал поглощением этой самой рюмочки величайшее одолжение. Потом он пел, а Ольга Всеволодовна записывала его на наш четырехдорожечный «Grundig». Пел – это громко сказано, он скорее шаманил, возможно это был первый рэпер. Пел (начитывал) про какую-то Леночку, вроде как ментярщицу, про какое-то партсобрание, про то, как шухера свистели в колокольчики, а граждане смеялись над картинкою… В общем дядька, как дядька… Я потом на эту пленку «URIAH HEEP WANDERWORLD» записал, правда Митечка меня чуть было не убил…»

Здесь я не стал вмешиваться в его текст. Чернусь, понимая, что эти строчки рано или поздно обретут гласность, осознанно отправил его ко мне в такой форме. «…приезжал какой-то одутловатый дядька…» Дядька! Мне по-настоящему жаль, что мое протеже – человек, хоть сколько-то одаренный, побывавший однажды в атмосфере истинной литературы (необычной лит. среде) – не может, не выпячивая свое эго, говорить о людях, чей талант и место в русской культуре НЕОСПОРИМЫ.

Я бы ему простил эти строки, найди он их где-то в пыльном чулане или же на чердаке с паутиной, или в своих старых тетрадях, полных двоек и троек, – напиши он их еще подростком, но не сегодня, когда ему давно за пятьдесят.

Лично я встречал «этого дядьку» не раз: он приезжал на «Киностудию им. Горького» – его брат, Валерий Гинзбург, прекрасный оператор в то время снимал картину «Гиперболоид инженера Гарина»; а я тогда, совсем еще мальчишка, состоял там на службе в учениках осветителя. Я хорошо помню, как этот самый «дядька» во время перерыва и перестановки света заходил к нам в павильон. Его сразу же окружала вся съемочная группа, и по тому, как он держался, можно было абсолютно точно сказать: это был ГОСПОДИН. Так вот этот самый господин был не кто иной, как Александр Аркадьевич Галич.

* * *

А позже произошла у меня одна неожиданная встреча во Франции, на Лазурном берегу, зимой. Событие, подтвердившее, что все в мире взаимосвязанно, в том числе наши мысли, а также

и то, что я иду верной тропой в своих догадках.

В 2013 году я встречал Старый Новый год в Каннах, в легендарном отеле «Карлтон». Так случилось, что за нашим столом оказался очень интересный собеседник – француз, который объяснялся на русском языке не хуже любого выходца из Москвы или Петербурга. В начале нашего знакомства я даже не пытался докапываться до его происхождения, так как наша беседа была стремительной: было очень много людей вокруг, которые отвлекали и перебивали нас. На том ужине были достаточно приличные и интересные люди, и со многими хотелось пообщаться, но я так и не нашел время – не получилось. Беседа с моим настоящим «русским французом» меня держала – его манера рассказа, подача информации страшно зацепили.

В основном, мы говорили о великих литераторах XX века, вспоминали и Цветаеву, и Ахматову, и Бунина, и Берберову, и, конечно же, Пастернака. А так как из всех мною названых имен Пастернак был для меня более предпочтительным, мы остановились на подробном обсуждении именно его персоны, его гения.

Я рассказал о своих проектах вокруг романа «Доктор Живаго», вокруг жизни и любви Бориса Леонидовича и Ольги Ивинской. А он поведал мне историю своего знакомства с Ольгой Всеволодовной.

Я тогда хорошо запомнил его историю… Через некоторое время я дозвонился до него и неназойливо попросил вспомнить и прислать мне более подробный рассказ, детали их нескольких встреч. И он любезно согласился.

Звали этого человека Рене Гера, французский филолог, славист и коллекционер.

Вот его рассказ:

«Почти 30 лет тому назад, а точнее, в феврале 1986 года, на Масленицу, меня пригласил к себе русский виолончелист, который жил на Монмартре. За столом я оказался рядом с одной обаятельной дамой. За чаем и блинами мы разговорились, мне сразу понравился ее чистый русский язык. Через некоторое время я осмелился и спросил ее имя. Ответ оказался очень неожиданный – Ивинская. Для меня – слависта – фамилия, конечно, знакома. Кто мог подумать, что рядом со мной сидит та самая Ольга Ивинская – муза Бориса Пастернака, та самая Лара из романа «Доктор Живаго». Не скрою, что был ошарашен. Она была настолько обаятельна, что меня даже не интересовал ее возраст. Изначально у меня было желание (как у любого

нормального мужчины) предложить ей ухаживания, и, когда я узнал ее имя, стало понятно, почему Пастернак выбрал для своего романа именно ее как прототип Лары.

В конце ужина мы договорились повидаться еще раз.

В следующий раз мы с ней встретились в кафе на улице Мучеников, просидели там почти три часа. Я внимательно слушал про Пастернака, про то время и про нынешнюю Россию. Ее рассказы были настолько увлекательны, что я даже стеснялся обращаться к ней с вопросами. Там она мне подарила свою книгу «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком» (Париж, 1978), с трогательной надписью: «Ренэ Юлиановичу Гера с самым теплым чувством и в надежде, что скоро увидимся. О. Ивинская 8 марта 1986». В самом конце нашей встречи она вдруг меня попросила об одном одолжении: «Не могли бы вы меня отвезти на русское кладбище?»

– Когда?

– В ближайшие дни. Когда вам будет удобно.

Я, естественно, сразу согласился.

Через несколько дней мы отправились в Сент-Женевьев-де-Буа. Я думал и хотел устроить ей экскурсию, показать могилы великих писателей-эмигрантов: И. Бунина, Б. Зайцева, А. Ремизова, И. Шмелева, Г. Иванова. Но к моему великому удивлению, приехав туда, она сразу же попросила меня показать могилу Александра Галича… Забыл сказать, что всю дорогу до кладбища мы ехали молча. Хорошо, что я знал, где находится могила Галича. Это довольно далеко от православного храма и самого главного входа.

Помню, в тот день, как знак судьбы, была грустная, дождливая погода, лужи, слякоть, грязь – и нам пришлось топать на другой конец кладбища, не обращая внимания на кресты, имена и таблички…

Когда мы почти подошли к могиле, она попросила меня подождать ее в стороне. Я понял – она хочет поклониться праху ушедшего поэта-эмигранта третьей волны в одиночестве. Довольно скоро, по ее просьбе, не посетив другие могилы, мы молча покинули кладбище и отправились в Париж. Меня все это поразило, ведь там лежит столько русских…

Но я кое о чем догадался, и естественно, уже не стал задавать вопросы».

Позднее догадка Гера подтвердилась. Александр Аркадьевич

был для Ольги Ивинской не просто поэт, драматург, бунтарь.

После смерти Бориса Пастернака Ольга Всеволодовна прожила еще 35 лет.

За это время появлялось немало желающих поведать миру историю ее отношений с поэтом и лауреатом Нобелевской премии. Многое она рассказала сама в своей книге «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком», изданной в то время во Франции. А многое так и осталось загадкой. Почему Пастернак не ушел из семьи, что его сдерживало? Как на самом деле переживала это Ольга?

Здесь я хотел бы привести кое-что воспоминаний одной уникальной женщины, женщины-легенды, друга Бориса Пастернака – Ольги Ильиничны Поповой… Правда, друзья и близкие всю жизнь называли ее просто Люсей (от производного Олюся). Если мы вспомним таких великих людей, как Корней Чуковский, Алексей Крученых, поэт и друг Маяковского, знаменитый и загадочный Вольф Мессинг, Александр Вертинский, Клавдия Шульженко, Евгений Евтушенко, который был ее учеником стихосложения и считает ее своей первой, а может быть, и единственной наставницей, вспомним и других, кого я не перечислил, то мы сможем написать целый роман о ней и ее общении с этими выдающимися людьми XX века. Общении, которым она никогда не кичилась.

Встреча и последующая многолетняя дружба с Борисом Пастернаком – это особые страницы, огромная часть ее жизни. Через него она познакомилась и с Ольгой Ивинской, с которой потом дружила почти 50 лет, до самой смерти Ольги.

«Что я могу вспомнить о Борисе Леонидовиче и Ольге… Встречи с Пастернаком – это была радость, удовольствие, огромное удовольствие. Были и опасения, переживания за него. Время-то шло страшное, аресты людей, это касалось всех. В частности, коснулось Ольги. А в моей жизни вообще как-то так вышло, что колючая проволока всегда была поблизости, прямо около меня, буквально с самого раннего детства.

А Пастернака я любила с детства, читала его стихи, я вообще читала все, что у нас было дома в книжном шкафу. Мы много ездили и всегда возили с собой библиотеку, и мне дома никогда не говорили: тебе это рано, не читай, я читала все, и никто мне не запрещал. Я любила Пушкина, Лермонтова, Маршака, да много кого и, как я теперь понимаю, любила хорошие стихи. Вот и Пастернак мне очень нравился.

С семи лет я с мамой и дедушкой жила в Медвежьей Горе, а до этого – в Ленинграде. Дедушку направили в Медвежью Гору по службе – переносить кусок железной дороги, который мешал Беломорканалу. Он был главным инженером по переносу трассы. Мы с мамой поехали вместе с ним. И это, я считаю, мое везение. Красивейшее место, но главное, там были очень интересные люди. Ведь это лагеря. В них сидели самые разные, в основном интеллигентные люди, и я была знакома со многими заключенными.

Это был лагерь, как лагерь – бараки, проволока, все как положено. Но работали многие вместе с вольнонаемными. Утром их выводили, строили в колонны, они шли с конвоем. По дороге их разводили кого куда: врачей – в поликлинику, инженеров – в КБ, артистов – в театр. Вечером – обратно в зону.

Считалось, что вольнонаемные и родственники, если у кого есть, с заключенными как будто не общаются. Но на деле, в рабочее время их уже никто не караулил, многие выходили на крыльцо, и иногда им удавалось повидаться с родными. Я туда ходила, так как у моей мамы была четкая установка – людям, нуждающимся в помощи, надо помогать. И я это усвоила с раннего детства. Как помогала я? Заключенные давали мне какие-то деньги, я бежала в ларек для вольных и покупала: кому – сигареты, кому – сахар, карточек тогда еще не было. Или кто-то давал мне письмо, и я бросала его в почтовый вагон проходящего поезда. Таким образом, письма шли без цензуры. К нам домой приходили посылки от их родных. И родственники их приезжали к нам, останавливались у нас. Мама работала чертежником в конструкторском бюро. Так и жили.

Я общалась с заключенными. Я как-то очень просто знакомилась с людьми взрослыми и даже немолодыми, и все они ко мне относились совершенно как к равному и взрослому человеку. Они говорили со мной о таких вещах, о которых с детьми не говорят. Я считаю, мне очень повезло, что я провела там детство и юность, потому что я получила, общаясь, такое воспитание и образование, какое никогда нигде не получила бы.

В Медвежке был потрясающий театр. Артисты, музыканты из лучших театров Москвы, Ленинграда, арестованные и заключенные, играли в лагерных театрах. Подбиралась великолепная труппа. Так и в Медвежке, прекрасные были музыканты, очень сильные, и певцы, не было только балета. Балет трудно держать в лагере, посадить-то столько балетных можно, но вот тренировки постоянные организовать…

А были там опера, драма, оперетта. В драме шел

классический репертуар, и Чехов, и Шекспир, в опере – «Онегин», «Пиковая дама», «Царская невеста», в оперетте – «Сильва» – все, как в любом театре в Москве. Вот в этот театр я ходила постоянно, и была там свой человек, свой ребенок, толклась у художников, у гримеров, с актерами разговаривала… И все ко мне очень хорошо относились, а я помогала чем могла.

Помню солиста Мариинского театра, помню скрипача, солиста Варшавской филармонии. Желяза Кароль Бертович его звали. Он был еврей, и когда мы Польшу разделили с Гитлером, он побоялся остаться на немецкой территории и перебрался к нам. Тут ему сразу дали пять лет и – в Медвежку. Он мне говорил: вот, посиди, послушай, это Паганини, а это – Шопен…

Еще я познакомилась с философом Александром Константиновичем Горским-Горностаевым, учеником Федорова, и он мне рассказывал об идеях Федорова, о Соловьеве, а мне было 9–10 лет. Наверное, подвигал его на разговор мой искренний интерес. И мне Горский-Горностаев советовал: вот, если такие и такие книжки увидишь – обязательно читай. В частности, Пастернака. Мне купили маленькую книжечку его стихов, однотомничек, я из рук его не выпускала, так он мне нравился, и потом везде с собой возила, и вот он у меня до сих пор стоит в шкафу. Там, в Медвежке, я познакомилась с людьми, которые знали – если не его самого, то о нем, и очень хорошо о Борисе Леонидовиче отзывались, и я думала: если смогу, когда-нибудь с ним познакомлюсь».

Так начиналась ее уникальная судьба. Ее сегодняшний возраст не заметен, это человек по духу молодой и тебе близкий. Веселость, жизнелюбие, юмор, безусловные доброжелательность и уважение к людям. Никакого ожесточения, сожаления, уныния, несмотря на жуткое положение и события вокруг такого хрупкого и такого юного тогда создания. Лагеря, война, бегство от немцев, госпиталя, голод, начинавшаяся цинга, – это юность, «календарь» которой она перебирает с легкой иронией и благодарностью.

Прямо перед началом войны медвежьегорский театр поехал на гастроли, и Люся отправилась с театром. На гастролях их застала война. Театр, уходя от немцев, перемещается в Вологду. Люся выходит замуж, работает и в театре, и в госпитале, и в концертном бюро.

В 1943–44 годах она приехала в Москву, поступать в театральное училище. Поступила, поучилась, но пришлось бросить институт – ее связки не выдерживали, она сипла ко второму акту. Стала работать в Гастрольбюро (ВГКО) по

организации концертов и вечеров, и сама ходила на поэтические вечера.

В Москве она познакомилась с Борисом Пастернаком.

«Я тогда уже поступила в ГИТИС, Белокуров меня не взял, сказал, что он не может со мной работать, потому что у меня внешние данные травести, а темперамент для «Коварства и любви». А Тарханов взял, мне дали место в общежитии на Трифоновке. Но оказалось, что я не могу играть, ко 2-му акту голос садился. Мне стали помогать. Барсова, Пирогов, Хмелев, все меня к своим ларингологам, фониаторам отправляли. Врачи сказали, что это какое-то несмыкание, надо лечить, в общем, я ушла из ГИТИСа.

Я работала в ВГКО (Всесоюзное гастрольно-концертное объединение) по открытым концертам и имела доступ во все залы. Гинзбург Григорий Давыдович, заведующий сектором открытых концертов, говорил, что я ему очень подхожу, потому что я очень добросовестный работник и не фанатик – не ем снег из-под калош Козловского, а общаюсь с людьми наравне. Поэтому и сольные, и сборные концерты с солистами вела я. Следила, чтобы была в порядке сцена, гримерка для солиста, если он кому-то заказывал контрамарки, надо обеспечить эти места, машину на выступление и домой. Это входило в мои обязанности. Я знакомилась с артистом, все очень удивлялись, что ими занимается такая маленькая девочка, но многие меня уже знали или слышали обо мне, потому что я так работала и в Вологде. Я выглядела очень молодо, да и было мне в Вологде 18, а в Москве в 44-м – 20. Но даже когда было больше 20-ти, и мы с мужем пошли в кино на последний сеанс, билетер сказал: с детьми нельзя. Муж говорит: это моя жена. Она так удивилась: вы это серьезно? Он ответил: не знаю, насколько это серьезно, но это так. Это был мой второй муж.

Так вот эти концерты я вела и знала прекрасно все залы, их ходы и выходы, и в Политехнический ходила запросто, там тоже меня все знали. Поэтические вечера и концерты в Политехническом вел Павел Ильич Лавут, о котором Маяковский написал:

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я

из дверей,
вижу —
они плывут…»

У нас были хорошие отношения, и он мне всегда звонил и сообщал, если что-то интересное намечалось. Так было и в тот раз.

Был вечер Пастернака в Политехническом, и я пошла. Он мне понравился очень. В нем было обаяние. Что-то такое притягательное, это ведь таинственное дело – обаяние. Никто не знает, что это такое. В нем – было. Вот, например, уже потом – идем с ним по улице – все на него оборачиваются. Стандартно хорош собой он не был, но что-то в нем было такое необыкновенное манящее.

В Политехническом, после выступления, я подошла к Пастернаку и заговорила с ним. Сказала, что давно его люблю, что вот у меня его книжка, что очень хотела с ним познакомиться… но я волновалась, а с ним был Женя Пастернак, и так как я волновалась, Жена стал мне «помогать» высказаться, попытался объяснить Борису Леонидовичу, что я хочу сказать. И говорить стал совершенно не то, что надо. Борис Леонидович это прекрасно понял и говорит: «Женя, ты не о том, совсем не о том». А мне сказал: «Вы не волнуйтесь», спросил, как меня зовут, продиктовал свой номер телефона и сказал: «Вы мне позвоните, мы как-нибудь встретимся и поговорим». Ну, я ответила: «Конечно», но так и не позвонила.

Потом был следующий вечер Пастернака в Университете на Манежной площади, и мне снова позвонил Павел Ильич, и я снова пошла. Там было полно народу, битком, сидеть негде. Было забавно, он читал такое эротическое стихотворение:

Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть,
в пустоте Торичелли.

А потом вдруг так остановился, схватился за голову:
– Боже мой, что я читаю, здесь же такая молодежь!..
Раздался хохот, конечно.

Массу записок ему передавали. Что-то он читал, что просили, и около него стояла такая черная дерматиновая сумка, и так как записок было огромное количество, то их все, когда кончился вечер, посовали в эту сумку. Он сказал: я их потом прочту. И я написала две записки. Одна была приблизительно такая: как вы

относитесь к творчеству Достоевского и Толстого? Вторая: что вы можете сказать о философских идеях Федорова и Соловьева?

А следующий вечер был в Доме ученых. Я тоже туда пошла, я и там всех и все знала: концерты, которые я курировала, там бывали. И вот, когда кончилось первое отделение, закрылся занавес, из-за него вышел Борис Леонидович и сказал буквально следующее: «На прошлом вечере мне подали очень много записок. В основном там были просьбы прочесть то или другое стихотворение. Я постарался в сегодняшнем вечере это учесть. Но были две записки, написанные одним почерком, там было…» И он наизусть, прочитал обе мои записки. И сказал: «Я считаю, что люди, которых интересуют такие вещи, должны быть знакомы между собой. Если сегодня здесь находится автор этих записок, я прошу его подойти ко мне после концерта».

Я очень обрадовалась, я такого никак не ожидала и после концерта отправилась за кулисы. Вокруг него уже стояли, как это тогда называлось, мастера художественного слова – чтецы, и разговаривали с ним. Журавлев, Шварц, и был ли Яхонтов, не помню. А он так озирался по сторонам, ему кто-то предлагал подвезти на машине, но он говорил: «Я жду, может быть, придет автор моих записок».

Я подхожу к нему и говорю: «Автор записок – я».

А была я одета так: из полутора метров полосатой вискозы юбочка, и из еще одной похожей ткани что-то вроде лифчика, получалось нечто наподобие сарафана. Все это шили мы сами на Трифоновке.

Он меня узнал.

– А, – говорит, – вы не позвонили.

– Нет, – говорю, – я не звонила.

– Ну, позвоните, позвоните.

Я говорю: «Я автор этих записок».

Он: «Да, да, да, вы позвоните мне…» И озирается по сторонам.

Я говорю: «Борис Леонидович, я автор этих записок».

Он так посмотрел ошарашенно:

– Как!? Вы автор записок?

Он был поражен!

– Да, – говорю – я. Вот, я хотела…

– Ну, ну, давайте мы поговорим, конечно!

Я не очень помню – то ли мы с ним в этот день пошли пешком и разговаривали по дороге. То ли мы договорились и встретились отдельно. Я не помню, потому что часто бывало так, что мы с ним подолгу ходили вечерами до, да и после

комендантского часа, разговаривали. О записках мы говорили, тоже гуляя по Москве. Было ли это сразу или в другой день, сейчас теряется в памяти.

Вот такая история нашего знакомства, мы встречались часто, и было очень хорошо, разговаривали о самых разных вещах».

Ее биография с самого начала была необычной. Я видел ее фотографии. Про таких женщин, девушек, наверное, говорят: чертовски мила, и в молодости, и сейчас. У нее необыкновенная энергетика, необыкновенная, это говорила и Ольга Всеволодовна, сама красавица. Она вспоминала, что ни один мужчина не мог устоять перед Люсей. И вот это выражение – «леонардовский ангел» – про Люсю – я тоже слышал от Ольги Всеволодовны. Так ее назвал Борис Леонидович.

Сначала я думал, что она была человеком, близким Борису Леонидовичу, близким – во всех смыслах. Мне казалось, что ее рассказ об их дружеских отношениях – некоторое лукавство. И я не хотел расстаться с этой мыслью. Не думал, что смогу переменить мнение. Или, думал я, их любовные флюиды отошли в сторону, когда Пастернак встретил Ольгу… Но потом я все же стал склоняться к тому, что между ними была настоящая доверительная дружба, которая частенько бывает и посильнее любовных вспышек. Ольга Всеволодовна, однако, ревновала своего Бориса к Люсе.

«Он был человек очень непосредственный, общительный и, как это говорят, простой. Он говорил со мной совершенно на равных. Мы говорили спокойно и очень интересно, я рассказывала ему об Александре Константиновиче Горском-Горностаеве, и оказалось, что он знал Олю Ситницкую, Оля – это Горского-Горностаева единомышленник и друг. Так образовались и общие знакомые.

Мы разговаривали на самые разные темы – и философские, и поэтические, всякие. Он делился своими планами, мыслями, например, о том, что хочет теперь писать прозу. Вышла такая маленькая книжечка его военных стихов, и он стал говорить, что надо писать проще. У него и прежде были такие строки:

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Но мы пощажены не будем,
Когда ее не утаим.

Она всего нужнее людям,
Но сложное понятней им.

И он стал придерживаться идей простоты, критически смотреть на свои ранние стихи… А мне нравились его ранние стихи, нравились больше. Я ему об этом говорила, а он смеялся – нет, нет, вы не правы… Но я и теперь так же думаю.

Вот так мы встречались, и как-то он сказал: «Давайте договоримся, вы будете приходить ко мне на дачу, там мы спокойно сможем разговаривать, во всякую погоду». Я, конечно, согласилась, и мы стали встречаться в Переделкино.

А однажды он меня пригласил на дачу, мы договорились, я пришла, а там Зинаида Николаевна копалась в огороде. Я ее узнала, конечно, остановилась у калитки, она подошла и меня спрашивает:

– Вы к кому?

– Я к Борису Леонидовичу.

Она меня взглядом смерила с головы до ног и спрашивает:

– Вы по делу или просто так?

Я как-то очень насторожилась. Я не ожидала от нее такого приема. Я к ней со всем почтением, потому что жена Пастернака и жена Нейгауза. Борис Леонидович мне о ней немного рассказывал, когда говорил о своей жизни, о первой жене и сыне, и о второй.

И как-то меня такой прием задел. Ну, подумайте – пришли к моему мужу, а я так встречу!

– Я просто так, но он меня пригласил, – ответила я.

– Он забыл, он у Чуковских.

Ну, никогда я бы так не сказала, никогда в такое дурацкое положение не поставила бы людей. Я бы сказала: «Пожалуйста, проходите, что-то он задерживается, но сейчас придет, не хотите ли кофейку-чайку, присаживайтесь», вот как я бы встретила человека, который пришел к моему мужу. По делу или так – не имеет значения.

Ну, я повернулась, сказала: «Всего хорошего» и пошла, и по дороге я встретила Бориса Леонидовича, как раз они с Корнеем Ивановичем и Лидией Корнеевной подходили к даче. Я говорю: «Была у вас», он так посмеялся, и говорит: «Давайте договоримся, я буду вам звонить, когда я один на даче». И с тех пор мы так встречались. Я работала, не всегда могла прийти, но когда могла, и он звонил, то я приходила. И в Москве мы тоже виделись, конечно.

Я жила уже не в общежитии, я вышла замуж. Муж, Николай

Яковлевич, был литератор, он жил в писательском доме в Нащокинском переулке. Там жил Нагибин, и Мандельштамы когда-то. В квартире жила и его первая жена с новым мужем, полковником КГБ или МГБ, или НКВД еще. Я поселилась в его комнате, у нас был телефон – Г-6-56-54 – помню номер. И Борис Леонидович туда звонил. А кто-то потом звонил и спрашивал Пастернака. Николай Яковлевич отвечал: «Он у нас не живет, но будем рады, если переберется».

Как-то мне кто-то, желая уесть, сказал, что я была на побегушках у Пастернака. А я сказала, что я с раннего детства на побегушках. Кому-то письма бросала, кому-то что-то в ларьке покупала, это все – побегушки. И Пастернак, вот мы шли с ним в банк, он снимал там деньги потихоньку от Зинаиды Николаевны, и эти деньги я отправляла либо Цветаевой Анастасии в ссылку, либо Шаламову в лагерь, книжки посылала, рукописи его везла к Дурылину Сергею Николаевичу. Это такой известный еще до революции литературовед. Он жил в Болшеве. Борис Леонидович давал ему читать и роман, и другую прозу. Наброски романа уже были. Дурылин был почтенным человеком, с которым Борис Леонидович очень считался. Все это я не считаю для себя унизительным, не всякому поручат такие побегушки.

Ему со мной было просто. И главное, что он доверял мне. Вообще люди чувствовали ко мне доверие.

В одно прекрасное время получаю я от Бориса Леонидовича такой телефонный звонок: «Приезжайте, мне очень хочется и очень надо вас видеть. Можете вот тогда-то прийти?» Я прикинула, говорю: «Могу».

– Я буду ждать. Во сколько?

– В такое-то время.

Договорились

Я приехала – он стоял у калитки! Сколько времени он там стоял, не знаю, я пришла – он стоит. Я приехала на электричке вовремя. Поздоровались, и первые его слова были: «Люся, я полюбил».

Я прямо ахнула. Представила себе Зинаиду и говорю: «Борис Леонидович, что ж теперь будет с вашей жизнью?»

Вот такой у меня возник вопрос. Он сказал: «Да, да, да, я тоже понимаю… Но что такое жизнь?..»

Такой поступок Бориса Леонидовича меня даже шокировал. Мне казалось, что он все-таки выжидал какой-то момент, чтобы осмелиться перевести их отношения в другую плоскость, но…

И вот он позвонил Люсе. Значит, она стала одним из самых

близких и доверенных ему людей. Это подтверждала и Ольга Всеволодовна, и ее это в какой-то степени даже пугало.

«Я поняла так: что такое жизнь, как не всякое стечение обстоятельств? Все возможно. А может быть: что жизнь, как не любовь? А может быть: кто скажет, что такое жизнь…

И он рассказал: «Знаете, она такая очаровательная, зовут ее Ольга, я хочу, чтоб вы с ней познакомились. Разрешите, я дам ей ваш телефон, она работает в «Новом мире».

Дал и мне ее телефон. Так мы познакомились с Люсей. Договорились и встретились. И она мне понравилась. Мы подружились.

Тут мне показалось странным, но тем не менее символичным, что Люся зовет свою подругу Ольгу так же… именно Люсей.

Она рассказала, что работает в «Новом мире» в отделе молодых поэтов. Там, кстати, все стали смеяться, когда Борис Леонидович начал к ней приходить, мол, вот еще один начинающий поэт. Рассказала она, что очень в него влюблена. Было это в 1946-47 годах.

Мы подружились, но вдруг она ко мне обратилась с очень странной просьбой: ты не могла бы ему сказать, что некоторое время будешь занята и не сможешь с ним встречаться.

Я спросила: «А, почему?»

– Ну, я не могу все время слушать, какая ты хорошая.

Вот так. Очевидно, все же была какая-то ревность? Я расстроилась, потому что мне очень нравилось с ним встречаться и разговаривать, но сказала, что на какое-то время вполне могу. Потом мы снова виделись, конечно.

А у Люси начались всякие неприятности в «Новом мире». Связаны они были, конечно, с ее встречами с Пастернаком. Например, Чуковская Лидия Корнеевна была с Люсей в прекрасных отношениях, а тут Люся сразу стала и вульгарная, и такая-сякая, плохая. Я помню ее рассказ: они с Эммой Герштейн были на концерте в консерватории, сидели в зале, смотрят – в боковую дверь входит Пастернак. Чуковская говорит: «Мы думаем, он к нам сейчас подойдет, а он нас даже не заметил, смотрит куда-то, улыбается… Мы посмотрели туда, куда он смотрит, а там, в бельэтаже, сидит вульгарно накрашенная Ивинская, и он смотрит на нее и идет к ней…»

Но это неправда, она вульгарно никогда не красилась. Немножко подводила брови, губы, чуть-чуть ресницы, и все. Ничего вульгарного в ней не было, она была очень женственна и

красива. И уж если сравнить и предложить любому: на кого ты хочешь посмотреть – на Лидию Корнеевну или на Люсю, так каждый человек, мужчина или женщина, безусловно, скажет, что лучше он посмотрит на Ивинскую.

Они все были в него немного влюблены, эти дамы. Я помню, когда Люся уже вернулась из лагеря, мы встретились на мосту с Тагер Марией. Она театровед, литературовед что-то, и была она в шляпе с вуалеткой. Она говорит: «Ивинская опять вцепилась в Пастернака». Я отвечаю: «Ну, так она любит его».

– Мы с вами тоже его любим, но не лезем к нему в постель.

Вот так, нахально… а была она раза в два, если не больше, старше меня. И я ей по-хамски ответила:

– Не знаю, как вас, меня он не приглашал…

А Люся мне сразу понравилась, и я поняла, почему он в нее влюбился.

Я думаю, что он должен был быть в состоянии влюбленности, чтобы сочинять стихи. Если проследить по его творчеству: была эта Ида Высоцкая – был «Марбург», была Елена Виноград – тоже стихи. И еще он был немножко влюблен, по-моему, в свою родственницу – так тоже стихи! Потом – Евгения Лурье…

Коробка с красным померанцем —
Моя каморка.
О, не об номера ж мараться
По гроб, до морга!

Я поселился здесь вторично
Из суеверья.
Обоев цвет, как дуб, коричнев
И – пенье двери.

Из рук не выпускал защелки.
Ты вырывалась.
И чуб касался чудной челки
И губы – фиалок…

Появилась Зинаида Николаевна, и тоже были хорошие стихи. Совсем другая, не Евгения Владимировна. Та считала, что раз она художница, за ней надо ухаживать, и никакой заботой о муже она не увлекалась. Зинаида же – наоборот, у нее был полный порядок в доме.

А Люся – опять человек богемистый, и совсем другой…

Очевидно, Борису Леонидовичу чувство было необходимо. А

что такое Пастернак? Пастернак поэт. И надо с этим считаться.

С Люсей мы были люди разные, но всегда находили общий язык. Я прекрасно ее понимала, я таких людей много знала, видела, я же театральный человек. Мы никогда ничего не делили и дружили почти 50 лет.

Как-то раз Ира мне сказала, что мать меня терпела, чтобы нас с Пастернаком держать под контролем. Глупости. А я прекрасно понимала, как он ко мне относится. Дурой не нужно быть, дурой. Почему непременно надо считать, что он должен быть в тебя влюблен и желать именно этого? Я, надо сказать, была довольна, что он не был в меня влюблен. Я была тогда влюблена в другого мужчину. И когда разошлась, все равно была спокойна.

Я помню такой случай: мы шли из Дома литераторов – Крученых, я и Борис Леонидович. Дошли до Арбатской площади, и Борис Леонидович говорит Крученых: «Иди, тебе, по-моему, туда». А Крученых ни звука не произносит, потому что он берег себя от инфекции и ходил с водой во рту. Он со странностями был, Алексей Алексеевич. Но я с ним тоже была в очень хороших отношениях. Так вот, Крученых пошел, а Борис Леонидович говорит: «Посидим, Люся, посидим…» Мы сели на скамейку.

Сидим, значит, так спокойно на скамеечке, молчим. Он мне говорит: «Вы знаете, Люся, может быть, вам как-то странно будет это слышать, но я сижу с вами, и мне больше ничего не надо».

Дурой надо быть, если представить себе, что ему, кроме меня, ничего не надо. Я прекрасно поняла смысл его слов. Мне от него ничего не надо, и ему от меня ничего не надо. Ему спокойно и хорошо.

Все время он что-то кому-то обязан, а нам друг от друга ничего не надо. И заодно – приятный человек рядом. Можно мыслями поделиться, а можно просто так посидеть. Вот я это очень хорошо понимала.

Когда Люсю посадили, мы, конечно, общались с Борисом Леонидовичем. Но тут вскоре посадили Николая Яковлевича, моего тогда мужа, и я боялась часто встречаться с Борисом Леонидовичем, чтобы еще не усугубить его положение. Меня все время таскали в КГБ на допросы.

Он все это время помогал материально Марии Николаевне, Люсиной матери.

А вот был человек, имя не буду называть, он у Люси занял деньги, ее посадили, осталась Мария Николаевна, ей было трудно. Я ему говорю: «Отдайте деньги, которые вы занимали у Люси». А он:

– Я с ней не имею ничего общего!

Значит, ее посадили, и он от нее отрекся.

Я говорю: «Знаете, что я вам скажу, если вы не отдадите деньги, я напишу, что вы у врагов народа брали средства. Вот меня вызывают в КГБ все время, я там про вас скажу».

Моментально отдал. Там было порядочно по тем временам. Я просто его так припугнула. Еще говорю: «Неужели не понимаете, она сидит, семья осталась, им же трудно. А вы взяли деньги и не отдаете». Может, боялся, тогда все боялись, или решил воспользоваться такой ситуацией. Но тут надо было его приструнить.

А дальше мы с Борисом Леонидовичем меньше виделись. У меня дети росли, мы перезванивались, но встречались реже. Некогда было, я работала в двух местах, сын Кира родился больной. Мама приехала с ним нянчиться. Мне надо было зарабатывать, мужу передачи я посылала, ездила туда, в общем, очень трудно было. Николая Яковлевича выпустили в конце 52-го или в начале 53-го года. Судились со мной соседи, хотели площадь отобрать. Суды, доносы. Писали, что мать у меня в лагерях была и муж – враг народа.

Борис Леонидович все про меня знал, беспокоился.

Когда я Николая Яковлевича забрала, мы жили все в 12-метровой комнате, а соседи судились с нами, хотели всю квартиру – себе, а нас четверых – на улицу. А ведь квартира была Николая Яковлевича. Но не вышло у них, помог начальник паспортного стола.

В конце жизни очень тяжело было Борису Леонидовичу. Когда его таскали из-за романа. Требовали от него всякие заявления. И Зинаида Николаевна требовала подписывать: у тебя – сын, говорила. А он отвечал: «Сын от такого отца не нужен, и такой отец, кто подписывает, не нужен никому».

Мой сын Кира родился совершенно больной. Мама с ним сидела. Я работала где угодно, чтоб содержать их. Таскали меня по поводу Люси в КГБ, и вещи у меня были сложены, я каждый раз думала, что меня там оставят. Следователь Семенов орал: «Ваше место рядом с вашей подругой». И требовал показания, которые я не могла дать. Я не подписала ничего. И ни разу мне мама не сказала – вот у тебя больной ребенок, подпиши! Ни разу. Поэтому у меня к Зинаиде Николаевне нет никакого уважения».

* * *

В своем романе я не могу обойти вниманием маму Ольги Всеволодовны – красавицу Марию Николаевну. Мне самому, к большому моему сожалению, не довелось с ней познакомиться, а человек она, судя по рассказам, была особенный. Но вот что я заметил, и это показалось мне интересным: когда люди о ней рассказывают, эпитеты следуют такие: выдающаяся бабка, гениальная или уникальная бабка, или потрясающая, фантастическая, ну и далее в таком духе. Рассказы эти относятся ко времени, когда ей было уже за 80 лет. Богословский вспоминал, как шутил Митя: «Бабушка с удовольствием бы вышла снова замуж, но к сожалению, не может ходить. Если б ходила – вышла бы во двор и нашла бы себе какого-нибудь генерала».

В свои за 80, как Валя Смирницкий и другие вспоминают, Мария Николаевна уже не вставала с постели, но была всегда при макияже, прическе, возлежала, опираясь на высокие подушки гордо, держала спину, на все и обо всех имела мнение, и не всегда лестное. Любила выпить рюмочку, причем в водочку себе подмешивала варенье. Обожала кошек, был момент, когда их собралось, этих кошек, не менее пятнадцати в небольшой квартире.

К мужчинам относилась очень хорошо, был такой случай, когда в доме проживали одни женщины, она с раздражением как-то вдруг сказала: да вы бы хоть для вида на спинку стула пиджак мужской повесили, а то что это за бабья жизнь… Ее остроумию мог бы позавидовать любой писатель-сатирик. Она смотрела телевизор, наверняка, ей нравилось «Очевидное – невероятное», «Кабачок 13 стульев», может быть, даже и «Следствие ведут знатоки»… Она была в курсе всего и имела свое понятие обо всем. И конечно же, она читала газеты – «Литературку», «Вечерку» и какие-то другие. Когда компания Митиных друзей чересчур расслаблялась, и матерные шуточки становились обычным повседневным языком, она в шутку грозила: «Прекращайте! Напишу на вас в «Комсомольскую правду!»

Я не видел Марию Николаевну, но у меня в воображении создался очень живой образ. Портрет ее – молодой темноволосой женщины – аристократической красавицы – всегда висел в доме Ольги Всеволодовны, но я тогда, к сожалению, не поинтересовался, кто это. Теперь я знаю, что судьба ее была очень непростая, впрочем – у кого она простая… Первый муж, Ивинский, сгинул в Первую мировую, со вторым она была счастлива. С ним и дочерью Ольгой она и поселилась в Потаповском переулке. В конце 1940 года ее арестовали по доносу, якобы за какие-то нелицеприятные высказывания о

советской власти, в лагере она едва не погибла, ее полумертвую спасла Ольга, вывезла, как списанную, – умирающую. Когда посадили Ольгу, Мария Николаевна с мужем остались с двумя ее детьми на руках и растили их.

Роман дочери с женатым поэтом она вначале не одобряла, но позднее перестала вмешиваться. Борис Леонидович относился к ней с большой симпатией.

* * *

Я хорошо помню, что в доме Ольги Всеволодовны часто упоминалось одно странное имя, Ханум. Особого внимания я, правда, на него не обращал. Ханум, да и Ханум. А как-то раз Митя, выпив рюмочку, попросил отвезти его в Переделкино. Я согласился. Стоял хороший летний день, да и съездить в Переделкино всегда интересно. Все-таки есть у этого места некая своя аура… Так вот, по дороге, из нашего разговора я понял, что едем мы на дачу к этой самой загадочной Ханум. Ну, а мне чего – Ханум, да и Ханум. Единственное, что я знал: Митя и Ольга Всеволодовна часто у нее на этой даче бывали и пребывали иногда подолгу.

А незадолго до этого я был в Переделкино у Беллы Ахатовны. Снимали ее интервью для какого-то грузин-ского документального фильма. Когда Володя Синельников, продюсер, попросил меня договориться с Беллой о ее участии в этой картине, я не стал особо интересоваться, что это за фильм, когда его смотреть и где – теперь, пожалуй, было бы неплохо и поглядеть… Но тогда для меня было важно просто лишний раз пообщаться с Беллой. Из самих съемок хорошо помню, как ее расспрашивали об отношении к коллегам по писательскому цеху, и она что-то рассказывала о Пастернаке.

Дача Беллы, на мой взгляд, была одной из самых скромных в поселке. Но, видимо, так распорядился Литфонд…

Однако вернемся в тот летний день, когда мы с Митей двинули в Переделкино. Итак, мы подъезжаем – и перед нами прекрасный двухэтажный дом в стиле 30-40-х годов. В окне второго этажа Ольга Всеволодовна, вероятно, с книжкой и, конечно же, с неизменной сигаретой в руке.

– Ну что, привез паек… Кремлевский! – кричит она Мите в своей иронической манере.

А он машет в ответ авоськой и скрывается в доме…

У меня, у бездельника, почему-то не оказалось в тот день

времени, даже чтобы зайти, и, наскоро поздоровавшись с Ольгой Всеволодовной, я сразу же умотал. Куда и, главное, зачем – до сих пор задаюсь вопросом…

Кое-что про эту дачу в Переделкино рассказала мне наша общая приятельница, Наталья Алимова, известный искусствовед и, по совместительству, жена выдающегося художника Сергея Алимова.

В Переделкино Наташа попала еще в студенческие годы. Она дружила с Мишей Фадеевым (сыном того самого Фадеева, председателя Союза писателей), и каждое «собрание комсомольцев», а проще говоря, каждая гульба проходила на даче, числившейся за членами семьи Фадеева. Правда, его вдова, знаменитая мхатовская актриса Ангелина Степанова, на эту дачу, что находилась в конце переулка, ездить не любила. Раньше здесь, в Переделкино, она создавала уют совсем в другом доме, в большом, в том, куда позднее я и привез Митю. Именно в этом доме, который отличался от соседних дач своей помпезностью, и застрелился ее муж, писатель Александр Фадеев. И это, конечно, должно быть той самой причиной, отчего Степанова не ездила в Переделкино… Зато молодежь могла гулять от души. И в один из таких вечеров на дачу приехала сестра Ангелины Степановой, Валерия Осиповна. Тогда же в гости пришла и Ольга Всеволодовна.

«Мы сидели на веранде, она много и интересно рассказывала, – вспоминает Наташа, – так состоялась наша первая встреча. А позже она подарила мне книгу и подписала: дорогой младшей подруге Наташе, так похожей на меня в юности, с любовью. Книжку эту у меня потом украли».

Уже в том, знаковом доме, в доме у Ханум, Наташа позднее стала абсолютно своей. И в период своей беременности даже прожила там полгода.

Наташа вспоминает, что, несмотря на свою дружбу, Ольга Всеволодовна и Ханум, бывало, зверски ругались. Главное, ругались по мелочам – и в дикой злобе разбегались в разные концы дома. Наташа шла и час уговаривала сначала одну, затем – другую…

«Впрочем, – уверила меня Наташа, – отношения были отличные, и эти ссоры – декоративные бабские разборки – конечно, не были всерьез, а, скорее, в этом для них было своего рода развлечение».

Да и вообще жилось хорошо, весело: друзья и соседи, вечера и застолья, все виделись, все общались, жили одной семьей. Гулять съезжалась вся Москва. Сама атмосфера заставляла Митю и его друзей не отлучаться надолго друг от друга. Влад

Дворжецкий, Сережа Богословский, Кибер – отставной разведчик, Шурок, Валя Смирницкий – все они собирались – и с соседней дачи приходил художник-мультипликатор Коля Серебряков, приходила Белла, а Фарик (Фархад Халилов, удивительный художник из Баку) прилетал с каким-то невероятным осетром… А там, где осетр, там и рюмашка.

Вот один интересный случай, о котором рассказала мне Наташа.

«Когда вышел за границей роман Ольги Всеволодовны, за ней и за Митькой следили. Она, конечно, оставалась в опале, но время было уже не то, чтобы можно было с ней как-то расправиться. И вот, однажды поехали мы к Белле с Борей. Все огромные – Митька, Серебряков, Сергей Саныч, мой муж, и я, беременная девочка, дочка адмирала. В общем, Беллу с Борей мы не застали. На обратном пути ехали довольно быстро по поселку, Мичуринец он назвался, поселок Литгазеты. Там прогуливались литераторы, и кто-то из них ударил по нашей машине сверху палкой. Вроде бы, даже главный редактор Литгазеты ударил, Сырокомский… Мы остановились, и тут же из машины вышли трое огромных богатырей. Вся эта литературная газета, все они с перепугу попадали с обочины, пожглись, как черти, крапивой, ну а мы спокойненько уехали. Но не тут-то было. Тут же была вызвана и милиция, пошли звонки в Москву, в Литгазету, и, в общем, начался вселенский скандал. А когда стало еще известно, что среди нас был сын Ивинской, из Москвы приехали полковники и генералы. Вообще, грозила всем посадка серьезная. Но в этой ситуации нашлись нормальные люди, врачи. Сырокомский и все прочие были осмотрены, но никаких побоев на них найдено не было. Но именно из-за Ольги Всеволодовны приехали эти серьезные чины. Кончилось тем, что все эти генералы-полковники пошли с ребятами в баню, задружились – Митька же умел тут же невероятно обаять кого угодно. Конечно, закончилось все ничем – но могли сесть! Но потом Белла все же бегала к Сырокомскому, говорила, что это ее друзья-товарищи, просила за них – не раздувать – и как-то обошлось».

Была еще история, которая описана у многих мемуаристов, история взаимоотношений Бориса Пастернака и Бориса Ливанова, был такой народный артист СССР. В самый суровый период нобелевских гонений он на правах друга Пастернака во время одного из обедов на Большой даче именно в гостях у Пастернака, будучи под мухой, начал охаивать близких Борису Леонидовичу женщин, и, в частности, Ольгу. Некоторые участники застолья тут же подхватили эти речи.

Вспоминает Ольга: «Эти антисоветские лица (это обо мне и

Ариадне) дискредитируют и губят талант их друга Пастернака. Такой лжи и мерзости я уже им не прощу», – заключил рассказ Боря. При мне он стал писать резкое письмо-отповедь Ливанову, которое я привела в своей книжке. Тогда же Борис Леонидович написал короткое, но выразительное стихотворение в адрес двуличного окружения Большой дачи: «Друзья, родные – милый хлам…»

И вот, судя по всему, это самое письмо-отповедь, опубликованное в книге Ольги Ивинской, и вызвало злобу и негодование сына, Василия Ливанова, того самого Шерлока Холмса, знакомого многим по кинематографу. В своей статье для журнала «Москва», которая плавно переползла в его книгу, он крайне нелестно отзывался и об Ольге, и о самом Борисе Леонидовиче.

И вот, в итоге Митя прочитал эти гадкие ливановские выпады, к примеру: «Ивинская прикинулась умирающей и пожелала сказать Зинаиде Николаевне последнее прости» и был в ярости. Неожиданно для всех решил, в традиции русского офицерства, вызвать Василия Ливанова, уже популярного на тот момент артиста, – к барьеру. Единственное, что было не ясно – на чем драться: на шпагах, на пистолетах или просто на кулаках. О последствиях или о какой-либо опасности Митя тогда и не думал: главное было отстоять честь матери. Митя и Ира буквально боготворили Ольгу Всеволодовну и любили ее не обычной простой ребячьей любовью, а фанатично.

Наташа и Сергей Алимовы оказались неким связующим звеном – в тот период они дружили и с Митей, и с Василием – и поэтому Митя обратился именно к ним. Он искренне уговаривал их устроить эту самую дуэль в мастерской Сергея. Дело в том, что мастерская Алимова находилась на одной лестничной клетке с той мастерской, в которой со своей женой, художником анимационного кино, проживал Ливанов.

Со временем, конечно, все улеглось и как бы утихло, идея дуэли сошла на нет. Невольно вспоминаются строчки Владимира Высоцкого:

«Дуэль не состоялась иль перенесена…»

Но Митя и Василий так и не встретились. Судьба сберегла их обоих, а то, несомненно, была бы – как минимум – страшная драка…

Кое-что об этом доме также вспомнила и рассказала мне Лена.

«Ханум – Татьяна Валерьевна Стрешнева – была хорошей

приятельницей Ольги Всеволодовны.

Она занималась поэтическим переводом восточной поэзии, отсюда – Ханум. Переводили по подстрочникам, работа приятная, все дело в заказах. Митя занимался тем же, и о заказах этих они подчас заботились совместно. Ханум писала и свои стихи, был даже издан небольшой сборничек ее лирики.

Было еще одно, негласное ее прозвище – Вдова. Татьяна Валерьевна Стрешнева была вдовой поэта Ярослава Смелякова, и это вдовство каким-то образом стало ее статусом, который она поддерживала.

Держалась она рядом с Ольгой Всеволодовной с неким посылом схожего вдовства, ничего похожего не было, но выглядело это даже трогательно. Про Смелякова рассказывали, как про человека угрюмого, мрачного, необщительного, да и каким еще ему быть после трех сроков и фронта. Ханум же – полная ему противоположность – дама светская, наводнявшая, к его неудовольствию, дом гостями и застольями. В 1972 году Смеляков умер, Татьяна Валерьевна стала вдовой и, будучи литератором, переводчиком, осталась жить на их даче в Переделкино.

Ханум занимала половину дачи, и пресловутый кабинет с камином, в котором застрелился Фадеев, находился на ее половине.

Вторую половину дома занимала писательница Чертова. Чертова – это псевдоним, настоящей ее фамилии я не знаю, тогда ей было уже под 90 лет, а рассказывали, как она «со товарищи» после революции ездила по деревням насаждать атеизм, где их чуть не поубивали. Она была страстно привязана к своей собаке, драчливому псу, ходила за ним по поселку, искала, лечила, сетовала на его поведение.

Когда я познакомилась с Ханум, золотая пора ее праздников прошла, остались лишь отголоски, приемы хозяйки открытого желанного дома. Я узнала ее уже немолодой, и тем не менее она была обаятельна, кокетлива, внешне легкого нрава, любила «газовые» полупрозрачные платья, застолья, гостей. На самом деле у нее была далеко не радужная и не простая жизнь с очень проблемным сыном от первого брака и не менее проблемной невесткой, которую она терпела. Ханум одна содержала весь дом, и эту двойку, и в придачу трех крупных собак. Сына она обожала, не видела и не хотела видеть его безделье, наклонности. Никаких помощниц по хозяйству не было. Ханум работала, покупала, готовила, мыла, стирала и снова работала. В общем, она держалась на высоте.

Когда Ольга Всеволодовна начинала скучать по Переделкино, она ехала в гости к Ханум, или мы все туда отправлялись. Мне у Ханум нравилось, у нее было красиво, чисто, накрывался большой стол, ставилась сине-белая английская посуда, она готовила интересные, часто восточные блюда, мы там отдыхали. Я полюбила Переделкино, его ауру, ее сейчас почти не осталось, я ощущала его былых обитателей, связь времен.

Я полюбила яркую кушетку в гостиной второго этажа, там можно было уютно валяться и читать, и саму просторную гостиную, из окон которой отлично просматривалась дача Пастернака.

Дача Фадеева стоит от дачи Пастернаков совсем близко. Между участками был небольшой кусочек нейтральной земли, на него выходили внутренние калитки обеих дач. Через этот ничей участок и потом через Пастернаков было гораздо удобнее и быстрее бегать на станцию, этим путем пользовались и во времена Фадеева.

В тот раз Митя и Татьяна Валерьевна собирались дней на 10 в командировку в Душанбе – встретиться с переводчиками, наладить связи, в общем, обыкновенные литературные дела. А мы с Ольгой Всеволодовной решили в их отсутствие пожить на воздухе, то есть в Переделкино, и переехали в дом к Ханум. Причем переехали основательно – с собакой и попугаем, так что в Москву с попугаем в огромной клетке мы до возвращения Мити не собирались.

Был ноябрь или конец октября, самое темное, холодное, дождливое время, когда мы зажили в Переделкино, где все равно было романтично. Я время от времени наведывалась в Москву по делам, возвращалась хоть и не поздно, но в это время уже в 5 часов была тьма, а в 9 и подавно все выглядело как ночь. Я старалась как можно быстрей миновать кладбище, потом вдоль шоссе до улицы Павленко, и – «через Пастернаков» – до калитки на наш, то есть ханумский, участок.

Это был, по-моему, 1984 год. Велось много разговоров о судьбе дачи Бориса Леонидовича. Культурная общественность, как могла, ратовала за музей, ничего в этом направлении властями не делалось, и наоборот, речь зашла о том, чтобы передать наконец литфондовскую дачу давно умершего поэта следующему постояльцу, другому писателю. Кто готов решиться жить в этом доме, было трудно представить, но вот прошел слух, что согласился в нем поселиться Чингиз Айтматов, потом, что его осудили, и он засомневался, отказался, в общем, дача осталась неприкаянная, и долго еще – музеем она стала только в 1990

году, объявленном ЮНЕСКО годом Пастернака.

И вот настал день, когда дачу стали освобождать от вещей. Как случилось, что именно в это время Ольге надо было находиться в Переделкино? С чего мы решили пожить там в отсутствие хозяйки в такую паршивую погоду, когда нос не высунешь на улицу без особой нужды? Чтобы увидеть это? После всего пережитого ею вынос вещей – лишь штрих, хотя выглядело это страшновато.

Мы с Ольгой Всеволодовной стояли у окна, лил настоящий дождь, холодный, было серо, мокро, донельзя уныло. И мы смотрели. Сейчас трудно вспомнить, кажется, как приехала машина мы не видели, а подошли к окну, когда она уже была на участке. Картина у нас перед глазами оказалась следующая: какие-то люди деловито ходят, распоряжаются около дачи, двери бокового крыльца открыты, выносят вещи, что-то ставят, да нет – просто сваливают тут же, что-то грузят.

Апогеем всего стал вынос рояля. Слишком, пожалуй, символично и драматично это выглядело, но Ольга Всеволодовна, слава Богу, не была сентиментальна. Рояль вытащили грубо, зло, и очень грубо шваркнули на землю, как будто сбросили с ремней, он дрогнул, упала крышка. Так он и встал – косо, отверстый, на зелено-жухлой траве около дома, в его нутро на струны струями лил холодный ноябрьский дождь.

Честно говоря, это было даже завораживающее действо, конечно, варварство, акт вандализма, но какая иллюстрация, какая картинка – черный красивый рояль на траве, струи воды, ветер, суетящиеся маленькие люди, а он стоит – да, в бедствии, с упавшей крышкой, но какой-то гордый, непобедимый что ли?

Кто вывозил вещи, я не знаю. Ольга стояла и смотрела, и я тоже. В этой стране столько всего пережито, что удивляться было нечему. Только совпадению вывоза с нашим, ее присутствием. По нашему рассказу Митя написал об этом хорошее стихотворение, кто-то передал его на Запад, и его читали по «Свободе».

Услышав этот рассказ, я вспомнил маленькую квартиру Ольги Всеволодовны, и тот рояль, который там тогда прижился. И я не раз садился за этот инструмент, что-то играл… Когда я стал комментировать присутствие в доме этого самого рояля, то очень хорошо по этому поводу высказался Сережа Богословский:

– Наличие рояля в доме – говорит именно о значимости такого дома.

* * *

В период моей работы над романом я не раз получал разную информацию, как устную, от людей, кто был близок к дому Ольги Всеволодовны, так и со страниц так называемых википедий, которые, со слов знатоков «паутины», не всегда достоверны. Тем не менее, когда окунаешься в историю жизни Пастернака, его отношений с людьми и, конечно же, его периодических влюбленностей, без которых поэт не может существовать, волей-неволей задумываешься. Ведь прочитанный текст – текст напечатанный, изданный – так или иначе призывает верить… Хотя все понимают, что, касаясь биографии такой неординарной личности, такого художника слова, каким был Пастернак, пытаясь раскрыть читателю правдивую историю (истину), рассказчик подспудно закладывает в нее свои собственные мысли. Так было всегда. Именно поэтому историки всех мастей не могут прийти к единому общему мнению «о великих мира сего», начиная с Александра Македонского и Наполеона Бонапарта и заканчивая нашими современниками. Ясно одно – любая масштабная личность, оставившая свой след в истории, будь то политик, правитель или художник, как правило, собирает вокруг себя всевозможных «биографов». И это естественно, ведь жизнеописания знаменитостей – это и хлеб, и возможность сделать себе имя.

В своей работе я никак не хотел представить Ольгу Всеволодовну святой, безгрешной и наивной – неким примером для подражания одиноким женщинам, ждущим своего «Живаго». Мне хотелось передать личное, мое ощущение от наших встреч, которое не оставляет меня и по сегодняшний день.

Я хорошо помню, как в одном из кухонных застолий она вдруг вспомнила лагерные годы и несколько конкретных эпизодов. И еще песни.

Особенно врезались в память две вещи: «Окурочек» и «Лесбияночка».

Отрывок из «Окурочка»:

Из колымского белого ада
шли мы в зону в морозном дыму,
я заметил окурочек с красной помадой
и рванулся из строя к нему.

«Стой, стреляю!» – воскликнул конвойный,

злобный пес разодрал мой бушлат.
Дорогие начальнички, будьте спокойны,
я уже возвращаюсь назад.

Баб не видел я года четыре,
только мне, наконец, повезло —
ах, окурочек, может быть, с «Ту-104»
диким ветром тебя занесло…

«Окурочек» сделал свое дело. В доме Ольги Всеволодовны курили все: и Митя, и Лена, и друзья – Шурок, Валера Нисанов, отставной разведчик Кибер, Сережа Богословский, Влад Дворжецкий, и особенно сама хозяйка, рук которой буквально не покидал малахитовый мундштук. Говорят, и Александр Галич, и Владимир Высоцкий тоже покуривали на этой кухне.

А вот и «Лесбияночка»:

Пусть на вахте обыщут нас начисто,
и в барак надзиратель пришел,
Мы под песню гармошки наплачемся
и накроем наш свадебный стол.

Женишок мой, бабеночка видная,
наливает мне в кружку «Тройной»,
вместо красной икры булку ситную
он намажет помадой губной.

Сам помадой губною не мажется
и походкой мужскою идет,
он совсем мне мужчиною кажется,
только вот борода не растет.

Девки бацают с дробью «цыганочку»,
бабы старые «горько!» кричат,
и рыдает одна лесбияночка
на руках незамужних девчат.

Эх, закурим махорочку бийскую,
девки заново выпить не прочь —
да, за горькую, да, за лесбийскую,
да, за первую брачную ночь!

В зоне сладостно мне и не маятно,

мужу вольному писем не шлю:
все равно никогда не узнает он,
что я Маруську Белову люблю!

В интернете я наткнулся на не самые лестные отзывы об Ольге Всеволодовне. На рассказ, будто ее просила другая заключенная передать какие-то вещи на зону, а она этого не сделала. Я могу допустить, что, может быть, так и было, представить себе ситуацию, когда человека выпускают на свободу, и тот, забывая обо всем, в первую очередь бежит к своим детям… Лично у меня было целых три случая, когда я взялся, но по тем или иным причинами, а честнее будет сказать, по природному «распиздяйству» не передал какие-то вещи и даже письмо, написанное для подруги в далекую Америку.

Кстати говоря, пока сижу и пишу эти строки, принял решение: свою миссию я все-таки выполню. Жаль, что поздновато.

Там же, в сети, я нашел книгу Бориса Мансурова, где опубликовано письмо Ирины Емельяновой, дочери Ольги Всеволодовны, обращенное к Евгению Борисовичу Пастернаку, первому сыну поэта. Почему вместо того, чтобы прийти к какому-то согласию с этой частью биографии Бориса Леонидовича, его родственники были настроены агрессивно? В своем письме Ирина в достаточно вежливой форме дает разъяснения, связанные с искаженными Евгением Борисовичем фактами истории отношений Ольги Всеволодовны и Пастернака. Вот, например, один неоспоримый факт: в своем цикле программ «Поговорим о странностях любви» Эльдар Рязанов приводит интервью Евгения Борисовича, где тот без стыда заявляет: «Возвращаясь от Ивинской, папочка принимал горячую ванну с мылом» … Вот строчки из письма:

«P. S. Иногда ваши «небезучастные» выпады ранят особенно больно.

Говорю о пошлом фильме Рязанова, где Вы, по-моему, позволили себе слишком много. Вам я тогда не написала, написала ему, но он мне высокомерно не ответил. Чтобы лишний раз себя не травмировать, прилагаю письмо к Рязанову, где есть место, касающееся ваших слов, за которые мне просто стыдно».

Я Ирину видел всего один раз в жизни, на похоронах Ольги Всеволодовны. Естественно, подходить с разговорами и знакомством было бы неуместно. Ирина взяла на себя миссию отгонять не только от имени своей матери, но и от имени

великого поэта все грязные домыслы. И меня это успокаивает; ведь начитавшись в сетях всевозможных мнений, большинство из которых, мягко говоря, напоминают пасквили, мне было как-то не по себе.

Наверное, образ Лары существовал для Бориса Леонидовича еще до встречи с Ивинской. Как правило, писатель, наряду с характером, заранее рисует внешние черты своего главного героя. Про Ольгу Пастернак говорил: «Лара моей жизни».

Почему же Пастернак не оставил семью? Мне кажется, можно рассматривать несколько версий.

Если бы Борис Леонидович остался до конца с Ольгой, наверное, не было бы ее второго срока. Так или иначе, его репутация смогла бы как-то ее уберечь. Но… Все-таки главное то, что Ольга была не просто его возлюбленная, помощник и литературный секретарь, это, действительно, была его настоящая муза. А у муз – свое, особое, не бытовое место.

Все гонорары от западных изданий «Доктора Живаго» он завещал именно ей. Даже ваш покорный слуга успел попользоваться частичками этих гонораров. Настал момент, когда деньги за переиздание романа на Западе стали приходить официально в ВААП (Всероссийское Агентство Авторских Прав) – и Ольга Всеволодовна получала их законно – конечно же, за приличным вычетом в пользу государства. Потом эти деньги превращались в сертификаты, так называемые «чеки», и Митя мог покупать в «Березке» лучшие сигареты, фирменное пиво и первоклассную закусочку. Бывало, и мне кое-что перепадало. В основном, всякое заморское курево: «Marlboro», «Winston», «Camel»… В то время я еще покуривал.

Еще мне представляется, что Пастернак не хотел травмировать главное семейство. Кроме Зинаиды Николаевны, у него было два абсолютно разных сына: Женя, от первого брака с Евгенией Лурье; и второй, уже их общий, Леонид, на которого в свое время Пастернак возлагал большие надежды.

Многим старым друзьям, с кем было прожито не одно десятилетие, Пастернак представлялся человеком, оберегающим традиционные семейные ценности. Среди таких друзей были и Анна Ахматова, и Галина Нейгауз, и Лидия Чуковская, и другие.

Незадолго до своей смерти Борис Леонидович вместе с официальной женой приехал в Тбилиси к Нино, вдове своего близкого друга, поэта Тициана Табидзе. Стоит тут отметить, что Грузия в его творчестве занимала особое место. На мой взгляд, лучшие переводы Бориса Леонидовича, не считая, конечно, Шекспира, – это стихи грузинских поэтов. Я люблю его знаменитый перевод стихотворения Николая Бараташвили, я

даже чувствую его, как некое обращение к моей судьбе. Хотелось бы тут вспомнить, а молодому читателю дать шанс познакомиться с этими удивительными строками.

Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.

И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам.

Он прекрасен без прикрас.
Это цвет любимых глаз.
Это взгляд бездонный твой,
Напоенный синевой.

Это цвет моей мечты.
Это краска высоты.
В этот голубой раствор
Погружен земной простор.

Это легкий переход
В неизвестность от забот
И от плачущих родных
На похоронах моих.

Это синий негустой
Иней над моей плитой.
Это сизый зимний дым
Мглы над именем моим.

В какой-то момент я обратился к этим стихам и положил их на музыку. Но я не единственный, кто приложил к ним руку. Популярные исполнители 70-х годов, Татьяна и Сергей Никитины, сделали свое дело. Правда, в их версию песни, текст которой нынче поселился в интернете, почему-то вкралась «ошибочка», кардинально меняющая весь смысл гениального стиха Бараташвили. Вместо «…на похоронах моих…» почему-то вылезает «…на похоронах твоих…». Интересно, кого это решили похоронить? Это еще один маленький, но наглядный пример, как «интернетная падла» извращает истину.

Но вернемся к поездке Бориса Леонидовича в Грузию именно с женой. Его вынудили уехать из Москвы официальные власти… В тот период в Москву приезжал премьер-министр Англии Гарольд Макмиллан, который пожелал беседовать с Пастернаком. Но желать не вредно… Власти решили спрятать поэта. Пастернак с Зинаидой Николаевной уехали.

А мне кажется, на самом деле он хотел бы бросить все и уехать с Ольгой, как его Живаго, куда-нибудь к черту на кулички. Все это было, повторяю, за год до кончины Бориса Леонидовича.

Но главная причина его бездействия, по-моему, в том, что принимать какие-либо решения в тех обстоятельствах было для него просто невозможно.

Дети Ольги Всеволодовны, Ира и Митя, которым на момент знакомства матери с Борисом Леонидовичем было 8 и 4 года соответственно, были вовлечены во всю эту историю. Иногда мне доводилось общаться с Ольгой Всеволодовной тет-а-тет. Однажды, когда я поймал подходящий момент и почувствовал ее хорошее настроение (хотя, надо сказать, Ольга Всеволодовна всегда производила впечатление человека оптимистичного), я спросил: «А как Борис Леонидович относился к Мите и к Ире?» «Ну, как относился, – ответила Ольга, – он принял их для себя с самого начала. И мне казалось, что и они через какое-то время ответили тем же… А позднее, когда Митя с Ирой подросли, они его уже воспринимали как совершенно родного. И, конечно же, тяга к литературе у них неспроста. Я бы одна их так настроить не смогла».

Когда я начал копаться, опять же, в том же множестве публикаций о взаимоотношениях Ивинской и Пастернака, я много раз натыкался на ее воспоминания в изложении разных биографов. Например, в книге Бориса Мансурова, который много времени провел в разговорах с Ольгой Всеволодовной, есть ее рассказ о том, как воспринимали дети всю ситуацию с травлей.

На тот момент Ире было немногим больше восемнадцати, а Мите четырнадцать с чем-то. Тем не менее, они осознанно воспринимали эту трагедию как свою и своей семьи, прекрасно понимая, какой человек был рядом с ними. В момент слежки за Пастернаком, а также, когда нужно было спрятать какие-то рукописи, которые, пожалуй, даже не нарушали цензуру тех времен, Ира и Митя были его оплотом. Был случай, когда Ольга Всеволодовна, подключив их, просто не пустила его в Союз Писателей на очередное судилище. Нашелся другой выход из положения: составили письмо, а Митя и Кома Иванов отнесли его на заседание и передали, как говорил мне Митя, прямо в

президиум.

Был еще другой случай, когда, всерьез опасаясь за Бориса Леонидовича, Митя поехал провожать его в Переделкино. А затем уже Ира организовала из своих друзей своеобразную группу поддержки, которая сопровождала Пастернака в его редких поездках в Москву и обратно. В ту осень в Переделкино проживал Михаил Светлов, он рассказывал, что хулиганы бросали камни в окна Бориса Леонидовича, грозились разгромить дачу, сопровождая все это антисемитскими выкриками, а какие-то изверги даже кидали камни в любимую собачку Пастернака.

Позднее, Пастернак напишет:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.

Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

* * *

Когда мы работали над сценарием своего фильма с участием Ольги Всеволодовны, то не раз обращались к известному оскароносному фильму, тому самому «Доктору Живаго». У нас часто возникали споры, сомнения по поводу экранизации. Как правило, Ольга Всеволодовна у нас была третейским судьей. Хотя, на мой взгляд, она должна была больше всех подвергать суровой критике эту своеобразную версию американцев. Но она была благосклонна и снисходительна к фильму, по крайней мере,

нам с Митей и Пранасом его не ругала. Правда, смеялась над варыкинским домиком с куполами, или наивными представлениями о костюмах того времени, но в целом относилась к фильму неплохо. И к актерам, сыгравшим Лару и Юрия Живаго, придираться не хотелось, они не вызывали у нее антипатии, скорее, напротив.

Как-то раз, совершенно неожиданно, в Москву приехал сам «Доктор Живаго». Это было где-то в середине 60-х, уже после смерти Пастернака, и уж если говорить на лагерном жаргоне, после «второй отсидки» Ольги Всеволодовны. Омар Шариф на то время считался непревзойденной звездой. И кто бы мог сомневаться: сначала в его карьере был «Лоуренс Аравийский», а через короткое время – «Живаго». Ольга Всеволодовна рассказывала, что они с Омаром Шарифом встретились.

В 2010 году, на кинофестивале в Венеции, в отеле «Excelsior», мне неожиданно Бог тоже послал встречу с «Доктором Живаго». Произошло это как-то спонтанно. Мы сидели с моими друзьями Раздобудьками, с Таней и Сережей, на веранде и пили – как завещал мне мой друг Вадим Михайлович – виски «Jack Daniel's», и вдруг слышу: «Анатолий! Анатолий! Иди сюда к нам, с тобой хотят поговорить!» Навстречу идет восторженный Марк, а рядом с ним – великий Омар Шариф. Позади, как водится, на всех этих фестивалях, хвост приспешников – журналюг и прочих прилипал. Марк что-то там ему активно втолковывал на своем французском (а может, и английском), а параллельно, жестами, подзывал меня. Надо сказать, что этот Марк по фамилии Ивасилевич, уехавший еще семилетним юнцом из Одессы сначала в Израиль, потом в Америку, а затем уже и в Париж – мой старый приятель (аж с 1988 года), еще по первым Каннским фестивалям, где мы частенько шлялись по легендарному ночному бульвару Круазетт, соблазняясь чернокожими проститутками… а я тем временем рассказывал Марку «о высоком». Марк отлично знал, что у меня где-то в загашнике есть сценарий о Пастернаке, о его «Живаго». И, разумеется, Марк уже успел объяснить нашему «доктору», что здесь сидит человек, который близко знал «Лару».

Наша беседа с «доктором» началась за тем же столиком, где проживал «Jack Daniel's». Я уже не помню, пригласили ли мы этот знаменитый напиток в свою компанию, но наш разговор и без этого был насыщен воспоминаниями о «Ларе». Я рассказал, что несколько лет назад мы похоронили Ольгу Всеволодовну, что она всегда мило вспоминала и о нем, и об их встрече, но никогда подробно не рассказывала о деталях.

Я и сейчас хорошо помню его рассказ: «…в Москве я превратился прямо-таки в паломника… С жадностью объездил все

пастернаковские места! Те, где он жил и творил… где-то поблизости с Третьяковской галереей…» «В Лаврушинском переулке», – напомнил я, а Омар Шариф продолжил: «Я был в Переделкино. Был на могиле у трех сосен. Впечатляет». А я, конечно, больше всего ждал его рассказ о встрече с Ольгой Всеволодовной – и здесь меня он тоже не разочаровал. Рассказал про то, как его инкогнито привезли к ней домой: «Меня сразила обстановка ее маленькой квартирки: рояль, кровать… все рядом. А ее платье показалось мне похожим на те наряды, в которые Пастернак одевал свою Лару». Он описал стол, накрытый Ольгой Всеволодовной, и назвал его «абсолютно русским». «Была водочка, я даже немного пригубил, – улыбнулся Омар Шариф, – поначалу наша встреча как-то не очень складывалась, было какая-то робость, стеснение – наверное, больше с моей стороны».

Здесь мне вспомнился Гарри, несостоявшийся продюсер, который так же однажды был «на приеме» у Ольги Всеволодовны… Рассказ Омара Шарифа зеркально отразил для меня ту встречу в доме Ивинской. В памяти сохранилось и ее платье, выполненное в традициях русской аристократии, и старинный кулон на шее, и то, как достойно она себя держала. А Гарри волновался. И это было заметно всем, а уж мне особенно.

«Может быть, переводчики доносили что-то не так, – немного подумав вдруг произнес Омар Шариф, – но, кажется, мне все-таки удалось принести некое извинение за столь сентиментальный образ Юрия Живаго. Ведь я тоже чувствовал его другим… Но у режиссера была иная задача – сделать фильм, в первую очередь, о любви. И, конечно же, эта музыка, этот вальс… тоже сделали свое дело. А еще я тогда сказал, что хотел бы пригласить ее в гости, в далекую Америку, на что она ответила: с удовольствием, но только ваше приглашение… оно так и останется желанием, нашим общим».

Омар Шариф сделал паузу, потом как-то странно взглянул на меня и, верно, прочитав в моих глазах абсолютное понимание, продолжил размышлять: «Все это мне, конечно, и самому было очевидно, я прекрасно понимал, в какой «системе» она, к сожалению, пребывает… Тем не менее, этот мой искренний посыл и наш диалог, по сути, заменили нам ту, воображаемую поездку».

Мне было неудобно особенно занимать моего неожиданного и непростого собеседника, а сзади стояли и прямо-таки дожидались окончания нашей беседы приспешники Омара, бурча что-то, по-моему, в мой адрес. Я видел их нетерпение, но, тем не менее, продолжал пытать великого артиста и дальше. Под конец я спохватился и поинтересовался у собеседника, как его вообще можно найти. Ответ меня удивил: «У меня постоянного дома

сейчас нет. Живу в Париже, в отеле «Royal Monceau». Приезжай, всегда будешь гостем. Я тебе еще много чего расскажу…» Понятно, его уже ждали на очередном приеме. Мы все вместе быстро встали, сфотографировались, посмеялись…

Уже потом я понял, что наша встреча с Омаром Шарифом была такой теплой неспроста. Оказалось, что Марк, будучи другом и консультантом великого продюсера Алекса Салькина, был знаком с ним и раньше. С его слов, они часто пересекались с Омаром Шарифом в этом «сумасшедшем» Париже при самых разных обстоятельствах: это были и бары, и приемы, и скачки, и казино, и выставки, и модные салоны – все, чем насыщена необузданная столица Франции. Любимец женщин, порой, как поговаривали сплетники, посещающий и дома терпимости…

Омар Шариф – человек мира – был званным гостем везде. Что интересно, их первая с Марком встреча состоялась на том же Венецианском фестивале, но на 8 лет раньше нашей. Тогда Салькин представлял на фестивале фильм Алехандро Ходоровски «Похититель радуги», где фигурировал прекрасный дуэт Омара Шарифа и Питера О'Тула.

А свой визит в пристанище Омара Шарифа, отель «Royal Monceau», я, конечно, так и не осуществил. Как обычно, все откладывал, перекладывал – да так и упустил. Та наша встреча в Венеции оказалась первой и последней. Совсем недавно самого первого «Доктора Живаго» не стало. Ольга Всеволодовна ушла от нас в 1995 году. Не стало и Мити, он пережил ее всего на несколько лет.

Что касается кино, то первый фильм, телеверсия, был снят в Бразилии еще в 1959 году. За ним последовал тот самый «Доктор Живаго» с Джули Кристи и Омаром Шарифом в главных ролях, спустя десять лет после издания романа. Само собой, в Советском Союзе этот фильм, как и сам роман, был запрещен. Однако история Живаго, история Пастернака, его любви и взаимоотношений с Ольгой Ивинской, так или иначе, еще полвека кружила вокруг кинематографа… И только накануне развала СССР, в 1990 году, появилась первая достойная внимания картина – это безупречно выстроенная документальная драма Андрея Некрасова «Пастернак» (альтернативное название «Другая драма»), где удивительно точно подобраны артисты, и особенно молодой Борис Леонидович, потрясающая музыка композитора-экспериментатора Олега Коровайчука, а за кадром звучит, столь привычный для того поколения, мягкий голос Иннокентия Смоктуновского.

Дальше последовал фильм «Лара – моя жизнь с Борисом

Пастернаком», возникший – в какой-то степени с моей легкой руки… О нем я рассказывал в начале своего писания.

В 1997 году телеканал «Культура» в цикле «Больше, чем любовь» показал так же упомянутый мною ранее фильм Одельши Агишева «Последняя любовь Бориса Пастернака». На мой взгляд, да и не только… этот фильм точнее других отразил настроение времени и того периода жизни Бориса Леонидовича. К сожалению, зритель об этом фильме ничего не знает. Да и время прошло…

А уже в нашем веке эта тема снова увлекла кинематографистов, и появилось несколько художественных и документальных лент об истории Живаго.

* * *

Так или иначе, история Лары и Живаго – это история любви. Есть любовь недосказанная, есть любовь нерассказанная вовсе, а бывает любовь, о которой даже внутри себя рассуждать страшно… Она настолько сильна, настолько выше тебя самого, что прикасаться к ней рискованно… Есть вероятность прослыть и почувствовать себя полным профаном. А если эта любовь еще и публична?..

Не знаю, сумел ли я Вам, премногоуважаемый читатель, передать что-то новое из этой истории с Живаго, кусочек которой мне удалось подсмотреть «из-за угла». Но мне, человеку, в общем-то, далекому от большой литературы, удалось услышать свой внутренний голос, и я – хотя бы в такой незамысловатой форме – решил поделиться с Вами моим воспоминанием… А судить уж – это Вам.

Приложение

Документы

Weissmann, Wolff, Bergman, Coleman & Silverman

A Law Partnership, Including Professional Corporations*

Michael Bergman
David L. Burg
David Colden
Stan Coleman
Julie McIntyre Creech
Michael Eidel
Mitchell Evall
Joel L. Fishman
Eric M. Greenfeld
Peter Grossman
David James Gullen
Alan G. Kirios*
Linda Lichter
Anjani Mandavia
Patricia A. McVerry
Gary J. Meisel
Peter Nichols
Scott Rein
Ronald J. Silverman*
Robert L. Stalberg
Eric Weissmann*
Daniel H. Wolff

9665 Wilshire Boulevard
Suite 900
Post Office Box 5562
Beverly Hills
California 90209-5562

Telephone:
(213) 858-7888

Telex:
286845 Weisswolf
Cable: Wolfman
Fax:
(213) 550-7191

RECEIVED
2 JUL 1990

June 27, 1990

Please Refer To:
7314.1

VIA FEDERAL EXPRESS

Mr. David Puttnam
Enigma Productions
15 Queens Gate Place
Mews, London SW7 5BG
ENGLAND

Dear Mr. Puttnam:

This office represents Spilny/Gamburg Films, Inc. and USSR Film Service Corporation.

Our client has been led to believe that you are negotiating with Olga Ivinskaya for her life story rights and novel, CAPTIVE IN TIME. If these facts are correct, you have been interfering with our client's contractual relationship. In this regard reference is made to the following facts:

1. Our client entered into an agreement with Olga Ivinskaya in June, 1989 which grants to our client first refusal rights to her life story and novel, CAPTIVE IN TIME.

2. On March 12, 1990 our client exercised its right of first refusal by delivering a written notice to Olga Ivinskaya.

If our client's information is correct, we hereby demand that you immediately cease all further negotiations with Olga Ivinskaya.

Our client has expended a great deal of time, money and energy in developing this project and has committed to various contractual obligations with writers, producers and financiers. Accordingly, we would like your assurance in writing as quickly as possible confirming that you have ceased negotiations with Olga Ivinskaya.

This letter does not attempt to give a complete statement of the facts nor our clients' position. Our clients hereby reserve each and every of their rights and remedies, in law and in equity, and this letter shall in no way be construed as a waiver of these rights and remedies.

Regards,

David Colden

DC/mc
cc: David Gamburg (via fax 470-4108)
Yuri Spilny (via fax 470-4108)
Alexandre Surikov (via fax 011-7095200-1286)
Eric Weissmann, Esq.

Doubleday

June 7, 1990

Thomas M. Lewyn, Esq.
Simpson, Thatcher, Bartlet
425 Lexington Avenue
New York, NY 10017

RE: A CAPTIVE OF TIME by Olga Ivinskaya

Dear Mr. Lewyn:

In response to your recent inquiry regarding the motion picture and television rights to the above book, please be advised that these rights have been reverted to the French publisher:

Librairie Artheme Fayard
75, rue des Saints-Peres
75006 Paris
FRANCE
(telephone: 1.45.44.38.45)

The person to contact at Fayard is Patricia Berg.

Sincerely,

Nancy Kaplan
Subsidiary Rights Manager

NK/ph

ANNA LASKAR - PARIS
42684300
SALANS, HERTZFELD, HEILBRONN

3.

5 juillet 1990

Mr David COLDEN
WEISSMANN, WOLFF, BERGMAN & SILVERMAN
9666 Wilshire Boulevard Suuite 900
Post Office box
BEVERLY HILLS - CALIFORNIA 90209-5592

FAX 19 1 213 550 7191

Dear David Colden,

I heard with amazement that you wrote to Mr David Puttnam a letter in which you threaten him with legal proceedings.

Mr Puttnam has passed on to me your letter of June 27th. I read it carefully and observed that your client lays claim to have entered into an agreement with Olga Ivinskaia in June 1989 and then in March 1990.

According to me, you can't expect in any way that these "agreements" be valid without having negociated it with Fayard, because FAYARD is the one and only Owner of "CAPTIVE OF TIME".

That is why I ask for all informations regarding how, when and with whom could you have made an agreement and for what kind of rights.

In order to save time, you will find herewith xeros of the two certificates of copyright (Russian and French).

Lookind forward to hearing from you soon,

With my best regards,

Patricia BERG
Rights Manager

CC : Mrs Olga Ivinskaia - Moscow by express mail
to → Mr Alexandre Surikov fax 19 7 095 200 12 86
Mr David Puttnam/Mrs Anna Lascar fax : 42 68 15 45

USSR Film Service Corporation

A Division of Soyuzkinoservice

USA:
10888 Wilshire Blvd.
Suite 1900
Los Angeles
CA 90024
Telephone:
(213) 470-4494
Telecopier:
(213) 470-4108

USSR:
Skatertny Per.20
Moscow
Telephone:
290-1000
Telex:
411114 INFLM SU
Telecopier:
290-1288

12/19/90

Mr. David Puttnam
c/o Natasha Dubrovskaya
Enigma Productions
15 Queens Gate Place
Mews, London SW7 5BG

HAND DELIVERED

re: A CAPTIVE OF TIME

Dear David:

David Gamburg, my partner in this project, met with Olga and Dmitri in Moscow and was told that Fayard is inclined to make a decision in your favor. As I mentioned in my last letter, let the best man win, and now and I am glad that someone of your experience will have a chance to put this wonderful story on the screen.

We would be happy to assist you in this process, and the most important step in this direction, I believe, is to come to an agreement between ourselves, so that all the time, money and hopes that we put into this project over the past two years will not be in vain, but instead, would if necessary help you and benefit the production.

I propose that we provide services for this picture if it is shot in the USSR. I suggest that you guarantee our providing these services on a reasonably competitive basis, which would mean that if someone offered you this service at a lower price, we would have to come down to that price if the offer made to you was reasonably argued, which could also be arbitrated by a mutually agreed upon third party. Our experience and reputation in this area are well recognized in both the United States and the USSR.

Another point of our agreement would be reasonable compensation for the expenses which we incurred during this two year period. We estimate these expenses being equal to an amount of approximately $40,000, but we would agree to the amount of $20,000.

Natasha Dubrovskaya and I had a long discussion about this project, in which she mentioned that you are a very reasonable man. I am glad that this is the case, and would be more than happy to come to an agreement with you regarding A CAPTIVE OF TIME.

I would like to wish you a wonderful holiday and a peaceful and prosperous New Year in 1991.

Sincerely,

Yuri Z. Spilny
President

cc: Natasha Dubrovskaya
David Gamburg
Alexandre Surikov

Anatoly Balchev
Moscow 123182
Avaitsyonnaya Street #74
Corp. 3, Apt. 50
U.S.S.R.

2 April 1991

Dear Anatoly,

I'm doing my very best to pull this project together, but at present I'm being entirely frustrated by the obduracy of Olga's French agent. All of the enclosed correspondence fills you in on the background, and you'll also see that I've made a commitment to Mr. Spilny in very much the area that you refer to at the top of page 2 of your recent letter.

In summary, so far as I'm concerned, I have an arrangement with Natasha Dubrovskaya which is clear and which I will honour. All other relationships, be they with Olga herself, you, or anyone else involved, will have to be organised through Natasha, simply because I can't find myself dealing with a variety of competing claims and ambitions and, for the sake of my own peace of mind, I'm only prepared to channel things through one person.

I suggest you remain in touch with Natasha and ensure that you're all in agreement on precisely what you want, and what you are prepared to offer.

I sincerely hope that all of this makes sense to you, because in the event that the existing confusion and counter-claims persist, I'll have no option but to politely and firmly withdraw from the entire project.

Kindest personal regards,

David Puttnam

DP/vk

c.c. Natasha Dubrovskaya

Enclosures

Иллюстрации

Слева направо: «Блоковская» незнакомка, а барышня, по-моему, симпатичная. Анатолий Бальчев, Евгений Евтушенко, Георгий Данэлия, Норберт Кухинке, Роман Цурцумия. Прием в ресторане «Архангельское» по случаю хорошего настроения господина Бабека. (Западногерманского бизнесмена, иранца по происхождению). Особенность этого вечера – две килограммовые банки черной икры.

Слева направо: Анатолий Бальчев, Георгий Данэлия – великий режиссер всех времен и народов. Норберт Кухинке – первый московский корреспондент журналов «Stern» и «Der Spiegel». Чистокровный немец, пропитанный русским духом, большой друг московской богемы. Получил входной билет в cinematograph от Г. Данэлии, сыграв в фильме «Осенний марафон» роль профессора-слависта. Роман Цурцумия – оператор, режиссер. Снимает не так часто и немного… лишь только то, к чему лежит душа.

Дмитрий Виноградов (справа) с Игорем Гордеевым. Они были типажно очень схожи с популярным в 60-е годы американским дуэтом «Simon and Garfunkel». И друзья им придумали такие «кликухи». Дмитрий Виноградов был «Саймоном».

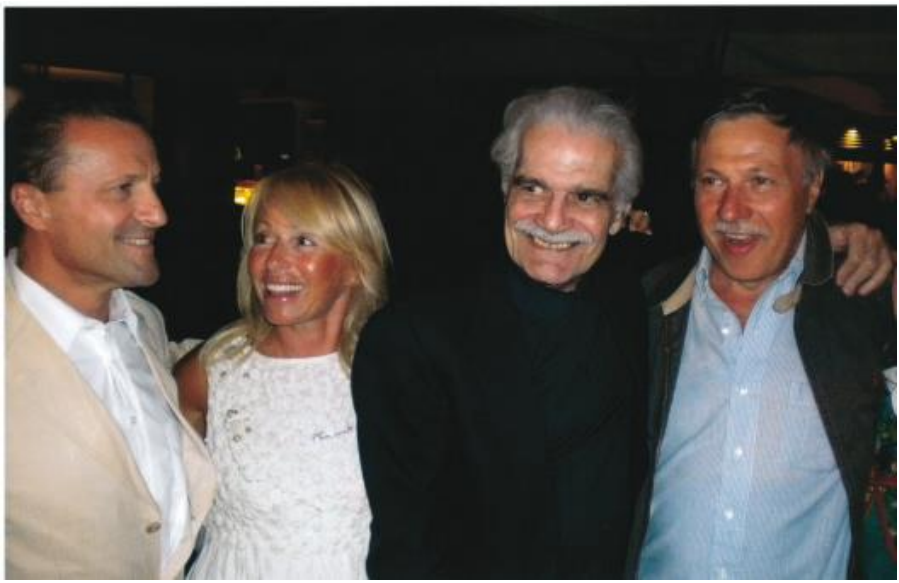
Дмитрий Виноградов, Стелла Чернусь – одна из верных гражданских жен Митички. Именно та Стелла – «главный бармен», – которую Владимир Высоцкий встретил в Таллинне и спровоцировал ее на переезд в Москву.

Елена Соловьева – в доме Ольги Всеволодовны ее называли «племянницей». Неизменный критик всех моих опусов.

Ольга Всеволодовна в своей маленькой квартирке на Вятской улице в Москве.

Ольга Всеволодовна Ивинская. Без комментариев…

Ольга Всеволодовна на даче в Луговой.



Венецианский кинофестиваль.

Слева направо: Марк Ивасилевич – продюсер из города Парижа, по национальности «одессит». Татьяна Раздобудько – очень любит жизнь, детей, внуков, собак, искусство и конечно же своего мужа Серегу. **Омар Шариф** – тот самый-самый первый «доктор Живаго», который вдруг «оказался» в Голливуде. Ваш покорный слуга Анатолий Бальчев.

notes

Примечания

1

Оригиналы писем см. в Приложении на стр. 242–246.